

# И ВСЕ-ТАКИ ОРЕШНИК ЗЕЛЕНЕЕТ

*Доктору Самюэлю Крюшо, моему другу, посвящается эта книга, где никто не подразумевается ни под кем и если случайно кто-нибудь и похож на кого-нибудь, то это кто-то совсем другой.*

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Был ли я в то утро счастливее или несчастливее, чем в другие дни? Не знаю, да и само слово «счастье» уже почти не имеет смысла для семидесятичетырехлетнего человека.

Во всяком случае, эта дата мне запомнилась: 15 сентября, вторник.

В двадцать пять минут седьмого мадам Даван, которую я называю своей домоправительницей, бесшумно и плавно вошла ко мне в спальню и поставила чашку кофе на ночной столик. Потом она подошла к окну и подняла шторы. Я сразу же увидел, что солнца нет, воздух насыщен влагой и, может быть, идет дождь.

Мы поздоровались без лишних слов. Мы вообще мало разговариваем друг с другом.

Я принялся за кофе и включил радио, чтобы послушать утренние известия, а она тем временем убрала одежду, оставленную мною с вечера.

Это уже стало ритуалом. Он создавался постепенно, и я сам не знаю, почему мы так свято его соблюдаем.

Мадам Даван напускает воду в ванну, а я пью свой кофе, прежде чем встать и облачиться в халат. Подхожу к окну. Я делаю это каждое утро. Смотрю на пустынную Вандомскую площадь, на длинные роскошные автомобили перед отелем «Риц», на полицейского, который дежурит на углу улицы Мира.

Пронесется два или три такси, спешит одинокий прохожий, поглядывая на часы. Черная мостовая блестит, как лакированная. Что это, дождь идет или туман оседает на мостовой? По легкому движению воздуха видно, что это мельчайший дождь, который падает медленно, едва заметно, от него-то и почернел асфальт.

За моей спиной мадам Даван ставит мне вторую чашку черного кофе.

— Вам приготовить синий костюм?

Я колеблюсь, как будто это имеет какое-нибудь значение, и говорю:

— Нет, серый... Потемнее...

Наверное, чтобы быть одетым под статью погоде. Дождь не перестанет весь день. Это не ливень, который скоро проходит. Площадь очень красива в этом приглушенном свете, особенно в час,

когда еще мало кто встал. Я вижу только два освещенных окна: там работают уборщицы.

Я знаю, что в кухне Роза Барбетон, горничная, подает завтрак своему мужу, который еще не надел белой куртки и белой поварской шапочки. Вот уже пятнадцать лет они работают у меня, Они спят в мансарде, как раз у меня над головой.

— Хотите что-нибудь заказать к завтраку или обеду?.

•— Нет.

— Вы никого не приглашали?

— Нет...

Я так редко кого-нибудь приглашаю! Реже просто невозможно. Понемногу я привык есть один и теперь устаю говорить и слушать за столом.

Кроме кухни, вся квартира пуста: мой кабинет, бывшая комната моей жены, ее будуар, и, разумеется, детские, так же как и большая гостиная и столовая.

Мадам Даван спит в комнате, которая долго принадлежала Жан-Люку. Сначала она хотела тоже устроиться в мансарде, но по ночам я чувствовал себя слишком одиноко в большой квартире, где стояла мертвая тишина и где, кроме меня, не было ни души.

В то утро все шло так же, как и в любое другое утро. По радио не сообщили ничего интересного. Выкурив сигарету, я потушил ее в пепельнице и направился в ванную. Первой моей заботой было побраться.

Вот еще одна привычка, которую ничем нельзя объяснить. Большинство мужчин бреются после ванны, потому что тогда борода становится мягче. Не знаю почему, я делаю наоборот. За последние несколько лет, вероятно с тех пор, как я живу один, я привык делать одно и то же в одни и те же часы.

Я слышу, как мадам Даван ходит взад и вперед по спальне. Она знает, что я терпеть не могу вида неубранной постели, резкой белизны смятых простынь. Она не уходит, пока я не оденусь, подает мне то, что я ношу гари себе, а я раскладываю это по карманам.

В общем, она исполняет обязанности лакея. Я всегда не терпел, чтобы при моем туалете присутствовал мужчина.

В семь часов я слышу шаги в кабинете, смежном с моей спальней. Это Эмиль, мой шофер, принес утренние газеты и положил их на столик. Он живет в пригороде, кажется возле Альфортвиля, его жена вот уже около двух лет лежит в больнице. Каждое утро, прежде чем выйти из дому, он убирает свою квартирку. Через несколько минут он тоже сядет завтракать в кухне.

Совсем маленький мирок, всего пять человек в квартире, предназначенной для большой семьи и для приемов.— Сейчас придут две уборщицы, которые, делают черную работу: каждый день они пылесосят все комнаты, даже те, в которых теперь никто не бывает.

Я пока еще не надеваю пиджака, а только легкий халат и

сажусь в свое кресло в кабинете. Здесь я провожу немало времени, а если мне нездоровится, остаюсь на целый день.

Пол застлан бежевым ковром, стены обтянуты кожей, такой же как и кресла, только немного светлее. На стене, напротив моего любимого места, я велел повесить большую картину Ренуара: это купальщица, молодая и цветущая; капли воды скользят по ее розовой коже. Она рыжеволосая, ее нижняя губка капризно выпячена вперед.

Я смотрю на нее каждое утро. Здравуюсь с ней.

Из-за этого мелкого дождя, из-за бесприсветно серого неба мне сегодня приходится сидеть при зажженных лампах, и со своего места я вижу, как освещаются окна напротив.

Есть ли у других, как и у меня, привычки, без которых они уже не могут обойтись? Прежде я не был таким. Мне кажется, что тогда дни не были похожи один на другой, я никогда не знал ничего заранее, не знал, где окажусь вечером и в котором часу лягу спать. Теперь я это знаю. В одиннадцать часов. Почти минуту в минуту.

С Жанной, моей второй женой, мы редко ложились раньше трех часов ночи и еще спали, когда дети уходили в школу.

А Нора, которая была потом, вообще охотно проводила бы ЕСС •ночи вне дома.

Я машинально просматриваю газеты, главным образом финансовую информацию, а мадам Даван, все так же бесшумно, словно скользая, приносит мне третью чашку кофе.

Я всегда был лаком до кофе. Кандиль, мой домашний врач, уже с лишком двадцать лет напрасно советует мне воздерживаться от него. Поздно. В моем возрасте уже не меняют привычек, мне так же трудно отказаться от трех чашек кофе, как и от остального.

Я не прочь посмеяться над собой. Жизнь моя вошла в определенную колею и катится по ней, как паровоз по рельсам. Любопытно, что постоянное повторение того, что я делаю каждый день, приносит мне известное удовлетворение.

Такое же, какое я испытываю, видя на своих местах картины и вещи, которые я приобрел постепенно, в течение многих лет. Для меня они не связаны с какими-либо переживаниями. Я никогда не думаю о том, что они могли бы мне напомнить.

Я просто люблю их, за их форму, материал, из которого они сделаны, за их красоту; в гостиной, например, стоит женская бронзовая головка, изваянная Роденом, и я поглаживаю ее всякий раз, как прохожу мимо.

Золоченые часы семнадцатого века бьют каждые полчаса, и мадам Даван следит за тем, чтобы они никогда не останавливались. Терпеть не могу, когда часы стоят. Мне кажется, что они ^мерли. Все часы в доме показывают точное время; кроме электрических часов на кухне, которые спешат на пять минут.

Вандомская площадь понемногу оживает. Слышно, как поднимают металлические шторы витрин, и у ювелира в первом этаже моего дома тоже,

Часы бьют девять, и это значит, что мне пора встать с кресла и сменить халат на пиджак. Чтобы пройти в переднюю, я должен пересечь большую гостиную, где работает одна из уборщиц, Я знаю их только с виду. Они довольно часто меняются. Сейчас, по-моему, это французенка и испанка.

Я не вызываю лифт, потому что мне надо спуститься всего на один этаж, где на двери красного дерева прибита медная дощечка с выгравированной на ней надписью:

*Ф. Перре-Латур, банкир*

Ф. значит Франсуа. Это я. Хотя большая часть дела все еще принадлежит мне, фактически я уже не хозяин. Я отказался от этой роли четыре года тому назад, когда мне исполнилось семьдесят. В тот день я был очень расстроен, потому что вдруг сразу почувствовал себя стариком,

Прежде я о старости почти не думал. Правда, я стал быстрее уставать, чаще приглашал Кандиля по поводу разных недомоганий, но старым себя не чувствовал.

А тут вдруг решил, что я старик, и начал жить, ходить, говорить и действовать, как подобает старику.

С тех пор у меня и появились разные причуды. С тех пор о моем доме и обо мне самом начала заботиться мадам Давай; «Сколько лет я еще проживу, если ничего не случится?»

Я задал себе этот вопрос совершенно спокойно. Мне кажется, я не боюсь умереть. В день моего семидесятилетия меня пугала лишь мысль, что я могу стать немощным.

Я вспомнил, как несколько лет назад смотрел на тех, кого считал стариками. Я всегда считал стариком своего отца, а между тем он умер в шестьдесят три года.

Меня просто ошеломляет мысль, что моему брату Леону семьдесят два года и что моей старшей сестре Жозефине, которая никогда не была замужем и живет до сих пор одна в Маконе, уже семьдесят девять лет!

Жанна, моя младшая сестра, жила со своим мужем в Метце и умерла от туберкулеза в 1928 году, когда у нее уже было двое или трое детей. Мне следовало бы знать, сколько их было, потому что некоторое время мы переписывались. Ее муж, по фамилии Лувье, служил в страховом обществе. После смерти сестры я потерял связь с ним и их детьми.

Я спускаюсь во второй этаж только в девять часов пять минут для того, чтобы дать время мосье Пажо открыть двери и ставни. Юн на десять лет моложе меня и уже тридцать лет работает в банке.

Директор, Гастон Габильяр, моложе: ему пятьдесят два года, Хотя я остался председателем административного совета, банком /управляет он, делая вид, что консультируется со мной, прежде чем принять какое-нибудь важное решение.

Он занимает кабинет, в котором когда-то сидел я, самый большой, самый светлый, с двумя окнами на Вандомскую площадь,

мебелью в стиле ампира. Вся мебель в банке в стиле ампира, и многие вещи подлинные. У нас только одно кассовое окошко, в первом зале, где стоит швейцар с серебряной цепью.

Клиенты приходят к нам не для того, чтобы получить по чеку или положить на счет небольшую сумму. Мы управляем их состоянием, советуем, как помешать деньги, иногда принимаем участие в их делах.

Я, например, был одним из первых, кто поверил в электронику и помог одному промышленнику из Гренобля, вложившему капитал в это дело. Теперь его предприятие на шестьдесят процентов принадлежит мне.

Я заглядываю в телетайпный зал. Наши аппараты поддерживают прямую связь с Лондоном, Цюрихом, Франкфуртом и Нью-Йорком. Потом захожу в кабинет, который оставил для себя. Он меньше моего прежнего кабинета, но тоже с окнами на Вандомскую площадь.

Моя личная корреспонденция ждет меня на бюваре, подаренном мне последней женой.

Вторник 15 сентября. Дождь все еще идет, мелкий, почти невидимый, но крыши и капоты машин совсем мокрые.

Это письмо лежит на виду, в верхней пачке. Почерк, которым написан адрес на авиаконверте, меня поражает. Он поразил бы меня не меньше, даже если б на конверте не было напечатано: «Больница Бельвю».

Она в Нью-Йорке. На набережной Франклина Д. Рузвельта; обращена фасадом к Ист-Ривер. Я хорошо знаю Нью-Йорк. И часто проходил мимо внушительных зданий больницы Бельвю.

Почерк неровный, буквы острые, то прямые, то с наклоном вправо или влево. Рука, писавшая адрес, дрожала. Это почерк больного или больной.

Мы в банке часто получаем письма от помешанных, и их всегда можно узнать по такому вот почерку.

На обратной стороне конверта фамилии нет. Я распечатываю письмо, и меня не оставляет чувство, что сейчас я узнаю неприятную новость.

Переворачиваю листок, чтобы увидеть подпись. Я не ошибся. Это письмо от Пэт. Теперь она подписывается Пэт Джестер.

Я знал, что она вышла замуж во второй раз. Даже заходил к ней в 1938 году, когда она жила в довольно бедном домике в Бронксе. Хотел узнать у нее адрес моего сына, который никогда не писал мне.

Ее соседка, видя, что я звоню напрасно, сказала, что моя бывшая жена работает в отеле, в Манхэттене (в каком именно, она не знала), так же как и ее муж, некий Джестер. Нет, соседка никогда не видела моего сына, но слышала, что он живет где-то в Нью-Джерси.

Письмо, конечно, написано по-английски. Даже когда мы жили в Париже, Пэт не могла запомнить и пяти французских слов. Мы встретились с ней в 1925 году, в Нью-Йорке, куда я при-

ехал стажироваться, на Уолл-стрите. Я жил на 3-й улице, около Вашингтон-сквер, на третьем этаже пятиэтажного дома.

Там, правда, был лифт, очень узкий, обитый красной материей. В кабине помещались только двое, и однажды я оказался в обществе молодой брюнетки, которая вышла из лифта вместе со мной.

Мы были соседями. И хотя я жил здесь уже несколько недель, мы до сих пор ни разу не встретились. Мне было тридцать лет. На второй или на третий раз мы разговорились, и она сказала, что она натурщица. Мы поужинали вместе. Потом вечерами мне все чаще случалось переходить из своей комнаты к ней, и однажды ночью я вдруг решил, что женюсь.

Мы переменили квартиру. Пэт было двадцать. Довольно веселая по природе, она иногда впадала в меланхолию. Она родилась на Среднем Западе, и я думаю, родители ее были очень бедны. О них она никогда со мной не говорила.

Я играл на бирже. И еще с тех пор, как семнадцати лет приехал в Париж и поступил на юридический факультет, я пристрастился к покеру и просиживал за картами целые ночи.

Я почти всегда выигрывал. У меня есть какое-то шестое чувство, которое помогало мне в Латинском квартале, а потом и на Фондовой бирже.

В 1926 году, считая, что моя стажировка закончена, я вернулся в Париж вместе с Пэт, и мы поселились в отеле на бульваре Монмартр.

Там и родился мой сын, которого мы называли Доналдом. Пэт больше не работала. Я вывозил ее как можно чаще, особенно в кабаре бульвара Монпарнас, которые были тогда так же модны, как позднее погребки квартала Сен-Жермен-де-Пре.

Почему Пэт не влюбила Париж? Не знаю. Она всячески подчеркивала, что она американка, и беспощадно критиковала все французское.

У меня был приятель, с которым мы вместе учились на юридическом факультете. Его отец держал частный банк на улице Лаффит. Приятеля звали Макс Вейль, это он посоветовал мне купить маленький банк на Вандомской площади. Его отец к тому же помог деньгами. А мой друг Макс погиб в Бухенвальде в 1943 году.

Я помню лишь даты, связанные с какими-либо событиями. Поэтому некоторые периоды почти не сохранились у меня в памяти. Например, моя жизнь с Пэт. Я с трудом представляю себе ее лицо. Мы с ней не ссорились, но в Париже у меня уже не было того радостного подъема, который мы оба переживали в Нью-Йорке.

Квартира в третьем этаже, над банком, была тогда занята, и мы продолжали жить в отеле.

У меня была любовница, Жанна Лоран, журналистка, дочь редактора одной из вечерних газет. Миниатюрная, тоненькая, очень живая, с острым умом.

По-моему, Пэт не знала об этом, и моя связь никак не могла

повлиять на ее решение. Однажды она объявила мне, что скучает по Нью-Йорку и съездит туда на несколько недель. Она увезла с собой нашего сына, еще слишком маленького, чтобы я мог взять на себя заботы о нем.

Для меня он ничем не отличался от остальных младенцев, и нежных отцовских чувств я к нему не испытывал.

Я не удивился, когда три или четыре месяца спустя получил письмо от адвоката из Рено с сообщением, что брак между мною и Пэт расторгнут, что виновником развода признан я и поэтому обязан платить тысячу долларов в месяц на содержание и воспитание ребенка.

Я обсудил это с Полем, моим приятелем и адвокатом Полем Терраном, который живет на набережной Вольтера и до сих пор время от времени навещает меня.

— Чтобы считаться действительным во Франции, развод должен быть разрешен по причинам, признаваемым французскими законами. Между тем твоя жена сослалась на то, что ты не живешь вместе со своей семьей. А где полагается жить семье?

— Там, где живет муж..

— Вот именно... Значит, ты, если хочешь, можешь потребовать, чтобы развод был аннулирован французским\* судом..

Зачем? В сущности, это меня устраивали". Мне уже не хотелось жить с Пэт и еще меньше окончательно переселяться в Соединенные Штаты.

Я еще больше сблизился с Жанной Лоран, и мне не нравилось возвращаться домой и ложиться спать одному, потому что она все еще жила у своих родителей.

Я платил Пэт тысячу долларов в месяц до 1940 года, когда связь с Америкой прекратилась. Пэт снова вышла замуж, за некоего Джестера, которого я никогда не видел и даже не знаю, кто он по профессии. Потом я потерял их адрес и, тал? как не знал и адреса Доналда, перестал высылать дейгй. Письмо лежит передо мной. Оно написано в палате больницы Бельвю женщиной, которой теперь, должно быть, шестьдесят два года и которая дрожащей рукой подписывается «Пэт Джестер».

Дом на 3-й улице, наверное, разрушен, а на его месте выстроено более внушительное и более современное здание, какие стоят теперь вокруг площади Вашингтона. —

«Беаг\* Франсуа...»

Мне странно, что она называет меня «дорогой Франсуа». Не знаю почему, мои руки начинают дрожать, будто это письмо меня немного пугает.

Прошло четыре года с тех пор, как в тот знаменательный день, когда мне исполнилось семьдесят лет, я решил стать эгоистом.

Вероятно, я не совсем достиг этого. Я думаю о Пэт, о своем сыне, которого -видел только младенцем, и всячески оттягиваю чтение письма.

\* Дорогой (англ.).

«Надеюсь, ты сможешь прочесть мое письмо. Я в этом не уверена, потому что почерк у меня становится все хуже. Уже три года, как рука моя начинает дрожать, только я берусь за перо или карандаш. А сейчас вдобавок я лежу в постели.

Это не моя постель. Я лежу в палате больницы Бельвю, где нас двадцать, двадцать пожилых женщин, которые не сводят глаз друг с друга, а ночью, каждая в свое время, начинают стонать. И я тоже, несмотря на уколы.

Не знаю, какие уколы мне делают. Когда спрашиваешь сестру, она улыбается и качает головой. Я даже не знаю, чем я больна и чем больны мои соседки по палате.

Врачи, по-видимому, тоже не знают, чем я больна, и уже два месяца пытаются это выяснить. Мне делают анализы. Меня возят на коляске в помещение, заставленное аппаратами, и там меня облучают.

Я такая худая, что вещь не больше десятилетней девочки. Только живот у меня пухнет, как будто он надут воздухом, и, порой мне кажется, что он чужой.

Худеть я стала года два назад, появились боли, но спер за приступы были реже. В начале лета я была так слаба, что мне пришлось бросить работу в отеле «Виктория» и весь день не выходить из своего маленького домика...»

Тот ли это дом в Бронксе, у дверей которого я как-то позвонил, когда приезжал в Нью-Йорк? И что это за отель «Виктория»? Должно быть, меблированные комнаты третьего или четвертого разряда. Пэт не пишет, какую должность она там занимала.

«К счастью, доктор Клейн не бросил меня. Мы живем на одной улице, и иногда мне приходилось вызывать его по телефону несколько ночей подряд, такие сильные у меня были боли.

Я тебе говорила, что мой муж Джестер\* был убит на Филиппинах? Я получаю маленькую пенсию, но ее не хватает, чтобы платить кому-то, кто ухаживал бы за мной дома. Так как я уже не могла выходить и большую часть времени лежала в постели, доктор Клейн устроил меня в больницу...»

Наверное, седые пряди волос падают ей на лицо, но я напрасно пытаюсь представить себе сегодняшнюю Пэт по тем воспоминаниям, которые у меня остались. Я вижу ее такой, какой она была в двадцать лет «а снимках в иллюстрированных журналах, иногда на обложке.

«Интересно, у всех в нашей палате одна и та же болезнь? Почти каждый день одну или двух из нас куда-то увозят, может быть на облучение. Мы почти не разговариваем друг с другом. Десять кроватей стоят у одной стены и десять таких же кроватей напротив.

Одни из нас читают, другие в дозволенные часы слушают радио. Большую часть времени мы смотрим друг на друга.

Пятеро из тех, которые были здесь, когда я поступила, уже заменены другими.

— Старушка с третьей кровати умерла? — спросила я ночную сиделку, более словоохотливую, чем дневная.

— Не думаю. Наверное, выписалась домой...

— А другие тоже?

— Какие другие?

— Те четверо, которых увезли...

— Не знаю.

Должно быть, их увозят умирать в другое место, и если мы следим друг за другом, то это потому, что каждой хочется знать, кто следующий навсегда покинет палату...

Но я пишу тебе не для того, чтобы жаловаться».

Еще в те времена, когда я встретил ее на 3-й улице, Пэт была •склонна думать только о себе. Впоследствии я понял это, в особенности в Париже, который для нее всегда оставался лишь декорацией.

Узнав, что она беременна, Пэт дулась на меня два месяца, и я до сих пор не понимаю, почему она увезла ребенка в Соединенные Штаты. Чтобы получить больше денег на его содержание?

Возможно. Но тогда почему после войны она не подавала о себе никаких вестей?

«Не помню, писала ли я тебе два или три дня назад, чтобы сообщить о случившемся. Знаю только, что хотела это сделать и уже обдумала письмо. Кажется, я начинаю терять память. И все-таки меня еще нельзя назвать старой женщиной.

Здесь есть одна старушка восьмидесяти четырех лет. Она лежит справа от меня и всегда пытается встать, как только сиделка выйдет из палаты. Два раза ее поднимали, она падала на пол возле своей кровати.

Теперь о Доналде. Он покончил с собой в сорок два года, и, самое страшное, что никто не знает, почему он это сделал.

У него была милая жена, Элен Петерсен, с которой он познакомился, когда работал в Филадельфии, и трое детей. Старший мальчик, Боб, работает в гараже. Я думаю, ему теперь лет двадцать. Точно не помню.

Есть еще Бил, он учится в средней школе, и, наконец, девчурка Дороти, которая похожа на меня в молодости.

Они, вероятно, были счастливы, несмотря на то, что Доналд потерял ногу в Корее. С тех пор характер у него немного изменился, но в конце концов он привык...»

Как представить себе этого сына, которого я видел только младенцем? Мне будто бросили в лицо мое прошлое, и я почувствовал, что земля уходит у меня из-под ног.

*«У него была заправочная станция с пятью насосами в Нью-арке, штат Нью-Джерси. Мне надо отыскать его точный адрес, может быть, ты им как-нибудь поможешь...»*

*Ну вот... Я достала свою записную книжку... Джефферсон-стрит, 1061, на выезде из Ньюарка, как раз в начале шоссе на Филадельфию.*

*Это произошло на прошлой неделе. Все уже легли спать. Он встал, сказал жене, что никак не может заснуть и потому пойдет привести в порядок счета...*

*Элен снова заснула. А когда она внезапно проснулась, почувствовав, что его нет рядом, было около трех часов утра. Она спустилась вниз не одеваясь и увидела, что он повесился у себя в мастерской.*

*Он не оставил никакой записки. Никто ничего не знает. Его похоронили в понедельник, и я даже не могла проводить его на кладбище.*

*По словам счетовода, которого пригласила Элен, дела его шли плохо и не сегодня-завтра Доналду пришлось бы продать свою станцию, но вырученных денег едва хватило бы на уплату долгов.*

*Видишь ли, он был очень добрый и доверчивый. И еще, надо сказать, он терпеть не мог заниматься счетами.*

*Надеюсь, тебе больше везет, как и твоим детям, если они у тебя есть».*

Я на несколько секунд закрываю глаза, будто отказываюсь принять эту новую действительность. Их жизнь продолжалась, а я и не знал о них, об этих людях, так близко связанных со мной. Я трижды стал дедушкой, не подозревая о том, и, если бы Пэт не была прикована к больничной койке, возможно, никогда бы и не узнал.

В общем, она мне пишет, чтобы зацепиться хоть за что-нибудь.

Жизнь у нее была тусклая, трудная. Муж погиб на войне, ей пришлось работать в отеле. И не в такой должности, где нужно писать, потому что у нее нет образования. Наверное, была горничной или кастеляншей.

Мой старший сын потерял ногу в Корее, а теперь покончил с собой, вероятно потому, что дела его были в отчаянном положении. Почему же он не написал мне?

Интересно, что Пэт ответила ему, когда он спросил, кто его отец и почему у него французская фамилия? Рано или поздно он должен был спросить ее об этом.

Может быть, она сказала ему, что я умер? Вряд ли. Он случайно мог оказаться в Париже, и здесь ему легко было бы навести справки. Он мог также обратиться во французское консульство.

Он никогда не давал мне знать о себе. Для него я не существовал, так же как и для его матери, до тех пор пока она не написала письмо, которое я держу сейчас в руках. Я исчез из их мира.

Я не испытываю угрызений совести. Я подавлен больше, чем

мог бы ожидать, но не чувствую себя виноватым. Потому ли, что я решил стать эгоистом? Мы шли разными путями, и это они вычеркнули меня из своей жизни.

*«Может быть,— продолжала Пэт,— ты им поможешь? Я понимаю, ты с ними даже не знаком, они для тебя чужие, но эти дети все-таки твои внуки...»*

Я и этого не чувствую.

*«Я знаю Элен. Она слишком горда, чтобы просить у тебя хоть что-нибудь, но я не представляю, как она рассчитывает выпутаться.»*

*Я много раз принималась тебе писать, и каждый раз мне хотелось разорвать письмо.*

*Словно я протягиваю руку, как нищая. Мне стыдно. Ты не обязан мне отвечать, но я прошу у тебя как милости: сделай что-нибудь для Элен и ее детей...»*

Я дочитал письмо. Остаются только эти слова над подписью!

*«Искренне к тебе расположенная».*

Этого я не ожидал. Она была моей женой. Пылкие и молодые, мы пережили безумные ночи в Нью-Йорке и Париже.

У нас был сын...

И в конце письма, написанного дрожащим почерком, она ставит самые банальные слова, которыми обычно заканчивают деловые послания. •

*«Искренне к тебе расположенная!»*

Я смотрю на свои часы, они показывают половину десятого. В Нью-Йорке сейчас половина четвертого утра. Мне остается только ждать полудня, чтобы позвонить нашему поверенному Эдди Паркеру.

Мне некого оповещать. Мало кому известно, что у меня был сын в Соединенных Штатах. Только Жанна Лоран знает это: она даже была знакома с Пэт, как-то я угощал их обеих ужином.

Едва был оформлен развод, мы с Жанной поженились. Я стараюсь вспомнить, когда это было. Кажется, в 1928 году. Тогда я получил в свое распоряжение третий этаж дома и мансарды,<sup>1</sup> Оставалось поставить мебель, хотя я хорошенько не знал, зачем столько комнат.

Нет, я назвал неверную дату. В 1928 году я познакомился с Жанной Лоран и только в 1930 на ней женился. Мне было тридцать шесть лет, а ей двадцать четыре. Она была очень умная, и широта ее знаний всегда меня удивляла. В то время она вела отдел кино в одной из газет.

Наш первый сын, Жак, появился в следующем году, потом, в 1933, родился второй, Жан-Люк.

Жанна продолжала работать и становилась все независимей, вращаясь среди более молодых и более интеллигентных людей, чем те, с которыми воевал знакомство я.

Например, когда я купил виллу в трех километрах от Довиля, она не выразила никакого удовольствия.

— В сущности, ты ведь сноб, не так ли?

По-моему, я не сноб и никогда им не был. Благодаря чутью, необъяснимому для меня самого, я заработал много денег. Даже экономический спад в Америке в конце концов принес мне выгоду: я вовремя почувствовал его приближение и принял меры предосторожности.

Мне казалось естественным покупать беговых лошадей и держать конюшни в Мэзон-Лаффит. Я имел право сидеть на трибуне владельцев, в визитке и сером цилиндре.

Я не называю это снобизмом. Не считаю снобизмом и то, что крупно играл в частных клубах Довиля — просто игра меня завладела.

Хотя, разумеется, мне не очень пристало все это. По традиции мне следовало бы продолжать дело отца, крупного маконского виноторговца. Я был старший сын, а фирма, основанная в 1812 году, из поколения в поколение переходила к старшему сыну.

Мы жили на набережной Ламартина, в большом буржуазном доме, от подвала до чердака пропитанном винным запахом. Мебель, старинная, но некрасивая, всегда была натерта воском, медная и оловянная посуда блестела.

Моя мать, в ситцевом переднике, командовала тремя служанками и часто сама хлопотала у плиты.

Как сейчас вижу белый фасад дома, который заново белили каждый год, темный кабинет отца, с окнами, выходившими во двор, загроможденный бочонками, и на винные склады.

Когда я переехал в Париж, мой брат Леон, тот, что моложе меня на три года, занял мое место, а сейчас во главе предприятия стоит его сын Жюльен, которому теперь, должно быть, немногим больше сорока. Только что, просматривая газеты в своем кабинете на третьем этаже, я чувствовал себя таким одиноким, но, прочтя это письмо, я вдруг обнаружил, что невидимые нити продолжают связывать меня со множеством людей.

Один из моих сыновей, старший, которого я, можно сказать, никогда не видел, повесился в каком-то гараже в-Нью-Джерси!

Я вошел в кабинет директора Габильяра, и он нахмурился, заметив, как я озабочен:

— Плохие новости?

— Да. Умер мой сын.

— Который?

— Вы его не знали, он жил в Соединенных Штатах... Он повесился...

Я нарочно сказал это, чтобы поразить Габильяра.

— У вас есть домашний телефон Эдди Паркера?

Он нажал кнопку звонка, чтобы вызвать свою секретаршу, мадемуазель Соланж, которой я иногда диктую письма.

— У вас есть домашний телефон Эдди Паркера?

— Конечно. Сейчас принесу...

Пока она отсутствует, я продолжаю, как будто с вызовом:

— Моя первая жена в больнице...

— В Париже?

— В Нью-Йорке.

— Сколько ей лет?

— Шестьдесят два или шестьдесят три года.

— Серьезно больна?

— Должно быть, рак...

Я говорю спокойно, словно сообщаю факты. Однако в глубине души чувствую что-то вроде отчаяния.

Целый кусок моей жизни обрушился, провалился в какую-то трясину, и я был бессилён избежать этой катастрофы.

Когда секретарша возвращается и подает мне карточку с номером телефона, я говорю ей:

— Прошу вас, не уходите до двенадцати часов. Возможно, на несколько минут я опоздаю... Мне нужно поговорить с Эдди Паркером...

Я никогда не любил сам вызывать кого-нибудь по телефону. Точнее, это меня раздражает.

Когда мы разошлись с Жанной? Это было после войны, в 1945 году. Война еще больше отдалила нас друг от друга, потому что Жанна участвовала в Сопротивлении. Около-трех лет я этого не знал и удивлялся, почему она так часто ездит в провинцию, несмотря на трудности, с которыми в то время были связаны всякие поездки, тем более что прежде она не любила путешествовать.

Однажды я увидел, как она поднимается в мансарду с пакетом в руках.

— Ты куда?

Она вздрогнула, но увилить не стала. -

— Подожди меня в кабинете. Я сейчас приду.

Она призналась мне во всем, в частности и в том, что два незнакомых мне человека уже несколько месяцев жили под моей крышей.

— Ты на меня сердишься?

— Нет.

Я говорил правду. Я был даже доволен, что она в Сопротивлении.

— Можно мне время от времени просить у тебя денег?

— Я с удовольствием буду давать...

Между нами уже не было любви, но осталось уважение и, по-моему, настоящая дружба.

Были ли у нее близкие отношения с кем-нибудь из товарищей по подпольной работе? Я не пытался это выяснить. Не задавал ей вопросов. И уверен, что она ответила бы мне без ложного стыда.

В то время почти все комнаты у нас были заняты. Моим сы-

новьям было пятнадцать и двенадцать лет. У нас'служила гувернантка, очень высокого роста, на голову выше меня. Жанна взяла ее с собой, когда мы решили развестись.

Мы вернули друг другу свободу. Она опять стала носить девичью фамилию, которой всегда подписывала свои статьи, и поселилась в квартире на бульваре Распай.

Она и сейчас там живет. Туда я и позвонил ей, когда вернулся к себе в кабинет.

— Мадам Лоран дома?

— Нет, мосье. Вы застанете ее в редакции...

Она теперь ведет иллюстрированный журнал, редакция которого помещается на улице Франциска I. Она тоже постарела. Все вокруг меня постарели, и мне трудно поверить, что и со мной происходит то же, что, в сущности, я самый старший из всех.

— Жанна? Это...

— Франсуа. Узнаю твой голос. Я как раз хотела на днях позвонить тебе.

— Почему?

— Чтобы договориться, когда мы увидимся... Я бы хотела поболтать с тобой... Но я еще не знаю, как у меня будет со временем на следующей неделе, и позвоню тебе еще раз... Ты хотел мне что-то сказать?

•— Доналд умер. Он повесился в своей механической мастерской, в Ньюарке, штат Нью-Джерси...

— Я была в Ньюарке...

Она больше меня путешествовала.

— Это его жена тебе написала?

— Нет... Написала Пэт...

— Как она живет? Наверно, ты удивился, получив от нее письмо после столь долгого молчания...

— Она в больнице Бельвю, в палате на двадцать коек, и у меня есть все основания думать, что у нее рак...

Наступило молчание.

— Сочувствую тебе, Франсуа... Два таких известия сразу... У Доналда есть дети?

— Трое...

— Ты им поможешь?

— Прежде всего, я пошлю к ним нашего нью-йоркского повенного...

Из последних двух фраз достаточно ясно видно, насколько разные у нас характеры. На моем месте она помчалась бы в аэропорт Орли и села в первый самолет, отлетающий в Нью-Йорк.

Но зачем мне лететь туда? Элен, жена Доналда, меня не знает, может быть, он никогда и не говорил ей обо мне. Мои внуки, разумеется, понятия обо мне не имеют. Ну а Пэт, что я могу сказать ей там, в больничной палате?

— Не знаю, почему мне захотелось поговорить с тобой...

— Ты хорошо сделал... Не падай духом... На днях я тебе позвоню...

— Ладно...

Сейчас только десять часов утра; я спускаюсь вниз, чтобы сесть в машину, дверцу которой открывает передо мной Эмиль, Внутри машины приятно пахнет кожей.

— В клуб? — спрашивает он.

— Да, в клуб...

В Новый клуб, на авеню Ош. Не знаю, почему его так называют. Наверное, прежде существовал другой клуб, и этот от него отделился?

Сначала я иду в раздевалку на третьем этаже и переодеваюсь для обычной получасовой гимнастики. Нас только четверо или пятеро в зале, заставленном спортивными снарядами; на ринге двое мужчин лет сорока боксируют под критическим взглядом тренера. Я спрашиваю у Рене, моего массажиста:

— Вы свободны?

— Да, мосье Франсуа...

Он никогда не называет меня Перре-Латуром. Должно быть, это для него слишком сложно. К тому же он знает меня уже двадцать лет.

Основательно разминая мне тело, он обычно говорит что-нибудь приятное.

— Вы-то еще держитесь, тело у вас крепкое...

Очень мило с его стороны. И все-таки мне семьдесят четыре года, от этого никуда не денешься.

— Вы идете в бассейн?

— Только разок нырну.

Я спускаюсь на лифте в подвал, где устроен бассейн. Сегодня я там один. Плаваю минут десять, потом возвращаюсь наверх, чтобы одеться. В полдень я уже снова на Вандомской площади и вызываю мадемуазель Соланж к себе в кабинет.

— Пожалуйста, соедините меня с Нью-Йорком. Паркер, наверное, разозлится, что я разбужу его в шесть часов. Вы не знаете, он женат?

— Во всяком случае, был...

— Тем хуже... А все-таки придется позвонить...

И я жду. Письмо Пэт лежит передо мной.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

— Эдди? — спросил я как можно мягче, чтобы он не слишком обозлился.

Как я и думал, аппарат задрезжал от гневного, хриловатого голоса:

— ОссП \Убо сап бе сгагу епоидь lo call те а! тх т хпе тог-пт§?

(«Черт побери! Какой сумасшедший вызывает меня в шесть часов утра?»)

Он подчеркнул это те, как будто если среди двенадцати мил-

лионов жителей Нью-Йорка и можно было кого-нибудь побеспокоить в такой ранний час, то во всяком случае не его.

Росту он метр девяносто; плечи как у борца. Рядом с ним я маленький, тоненький и хрупкий.

— Франсуа, — ответил я все так же кротко.

И так как он, казалось, не сразу узнал мой голос, я добавил:

— Перре-Латур...

— Вы в Нью-Йорке?

— Нет, в Париже...

Он, должно быть, понял, что если я разбудил его так рано, то, конечно, по важной причине.

— I at зоггу...\*

Он, так же как и я, легко переходит с английского на французский и с французского на английский. Родился он в Париже, когда его отец был послом Соединенных Штатов, и некоторое время учился во Франции.

Сколько ему" может быть лет? Сорок пять? Сорок восемь? В последние годы у меня появилась мания: я стараюсь угадать возраст людей и почему-то придаю этому большое значение.

Эдди Паркер — згоск'бокег, что приблизительно соответствует нашему биржевому маклеру. Каждый день он оперирует миллионами долларов, то есть гораздо большими суммами, чем мой маленький частный банк. Меня всегда удивляет, как могут такие молодые люди, как он, брать на себя подобную ответственность.

Впрочем, я забываю, что мне самому было всего тридцать три года, когда я возглавил банк на Вандомской площади. Да я еще потерял на войне четыре года — с четырнадцатого по восемнадцатый — из которых почти три был в истребительной авиации.

Теперь, когда я не вожу даже автомобиля, мне странно, что я был летчиком\*.

— Я тоже прошу прощения, Эдди, но мне нужно было поговорить с вами как можно скорее.

— Я лег в два часа ночи, да еще танцевал весь вечер...

Для чего он говорит это? Чтобы предупредить меня, что он не один? Я не совсем уверен, но мне кажется, что он развелся несколько лет назад. Когда он в последний раз приезжал в Париж, он был один. В Нью-Йорке я встречал его жену, маленькую брюнетку, очень живую, страшную непоседу — с ней невозможно было вести сколько-нибудь связный разговор.

Должно быть, он танцевал с другой женщиной, с которой и провел ночь.

— Не знаю, понимает ли она по-французски, но, если разговор конфиденциальный, я лучше перейду в другую комнату...

Он живет на Парк-авеню; его страсть — парусный спорт. В аппарате раздается шум, затем слышен его голос, уже более уверенный.

— Вы позволите мне зажечь сигарету? ,

\* Простите (англ.).

Я даже слышу шорох спички.

— Вы помните Пэт?

— Никогда ее не видел, но мнэ о ней говорили...

Я и забыл, что во времена Пэт я еще не был с ним знаком.

— После тридцати лет молчания я получил от нее известие...

— У вас ведь был сын, не так ли?

— Да... Послушайте, Эдди, я, конечно, должен был бы приехать в Нью-Йорк, но, признаюсь, не могу на это отважиться. Моя первая жена в больнице Бельвю, в общей палате...

— Серьезно больна?

— Врачи ничего ей не говорят, но, как я понял, у нее рак... И по-моему, у нее нет денег... Последнее время она жила одна в маленьком доме в Бронксе и работала в гостинице. Вы знаете отель «Виктория»?

— Кажется, видел такой в Вест-Сайде, в районе доков...

— Ее второй муж был убит на войне... Она получает маленькую пенсию... Я хотел бы, чтобы вы съездили в Бельвю и поговорили с врачом, который ее лечит... И повидайте ее... Пусть ее переведут в отдельную палату, дадут сиделку, и оставьте ей денег столько, сколько ей нужно: ну, пять, десять тысяч долларов...

— Понятно... А ваш сын?..

—г Еще сегодня утром я ничего не знал о нем... После развода они вычеркнули меня из своей жизни... Мои чеки принимали, но даже не сообщали, что они получены... Во время войны невозможно было посылать деньги из Франции, а когда сразу после войны я снова послал чеки, они вернулись в нераспечатанном конверте...

— А что случилось с мальчиком?

— Он повесился на прошлой неделе...

— Я очень огорчен, Франсуа...

— Я ведь совсем не знал этого... Он был женат... У вас есть чем писать?.. Запишите адрес: 1061, Джефферсон-стрит. Ньюарк... Это заправочная станция при выезде из города, в сторону Филадельфии... Кроме жены, Доналд оставил троих детей... Кажется, его дела шли плохо, и ему угрожала продажа за долги...

-?• Понимаю... Вы хотите, чтобы я поехал туда и все уладил...

— Да, Эдди...

— Вы мне укажете предельную сумму?

— Нет... Заплатите долги, посмотрите, сколько нужно жене и детям... Старший работал, помогал отцу... Не знаю, сможет ли он продолжать дело.

— Можно сказать, что это по вашему поручению?

— Конечно. А то они ничего не поймут. Пэт все равно им скажет, что она мне написала...

— Шелл\*, Франсуа... Будет сделано... Я позвоню вам через несколько часов...

Он не стал выражать соболезнований. Это не в духе Эдди Паркера, да я этого и не ждал.

\* Хорошо (англ.).

— Спасибо, мадемуазель Соланж. Простите, что задержал вас. Я думал, вы ушли после того, как соединили меня...

— Но если бы я вам понадобилась...

Мне кажется, она немного покраснела, будто смутилась, что мы одни в опустевшей комнате. С женщинами я как-то забываю о своем возрасте. Они так долго баловали меня, что я привык обращаться с ними довольно свободно. Но теперь, когда я уже старик?

— Приятного аппетита.

— Вам также, мосье Франсуа...

Я поднялся к себе, и почти тотчас же мне доложили, что завтрак готов. Уже давно я сажусь за стол один. Я не читаю за едой, как большинство одиноких людей. Я рассматриваю вещи вокруг себя, мои картины, среди которых есть один Сезанн, много фовистов и несколько сюрреалистов, например Магритт, я купил картины этих художников, когда ещё никто не думал о возможности нажитья на них.

В общем, я потратил значительную часть своей жизни, чтобы окружить себя предметами, которые мне нравятся, и от этого ощущал, да и теперь еще ощущаю, настоящую радость. Вандомская площадь чарует меня так же, как и в те времена, когда я купил банк, и я-знаю ее во все часы дня и-ночи, при любом освещении.

Дождь по-прежнему идет, все тот же невидимый дождь, как будто между мной и Вандомской площадью кто-то поставил матовое стекло. Едут машины, идут прохожие.

Мадам Даван подает кушанья, иногда мы беседуем. Разговор всегда начинаю я, она же молча прислуживает.

— Сегодня у меня тяжелый день, мадам Даван...

Ни за что на свете она не позволила бы горничной Розе подавать мне за столом. В те времена, когда я часто устраивал у себя приемы, у меня был дворецкий, но с тех пор, как я остался один, я обхожусь без него.

Насколько мне известно, мадам Даван около сорока лет, и я почти ничего не знаю о ее прошлом. Мне горячо рекомендовало ее агентство по найму прислуги, но она не предъявила никакого удостоверения. Я полагаю, она вдова. Она никогда не говорит ни о своем муже, ни о том, какую жизнь вела до того, как поступила ко мне в дом.

Она стала заботиться обо мне так, словно в этом и заключалось ее назначение. Четыре года тому назад, когда я заболел воспалением легких, она столь умело ухаживала за мной, что Кандиль был поражен.

— Вы были медицинской сестрой? — спросил он ее при мне.

Она ответила:

— Мне приходилось ухаживать за больными...

Больше она ничего не добавила. Где это было? У нее в семье? В больнице или частной клинике?

Мы доверяем друг другу. Я чувствую, что вся ее жизнь сосре-

доточилась здесь, в моем доме, что мир за его стенами для нее не существует.

— Моя первая жена очень больна в Нью-Йорке, а наш сын повесился на прошлой неделе...

— Вы очень огорчены?

Можно подумать, она догадывается о моих чувствах. Нет, откровенно говоря, я не огорчен. Но, разумеется, потрясен. Скорее даже, изумлен. Разве каждый из нас не надеется, что жизнь не готовит нам неприятных перемен?

— Когда вы в последний раз ее видели?

— В 1928 году...

И это единственная Пэт, которую я знаю, Пэт тех времен, молодая и веселая.

— Она вас покинула?

Мадам Даван задает вопросы так просто, что они не кажутся нескромными.

— Да,.. Вдруг заявила, что хочет провести несколько недель в Штатах... Она никак не могла привыкнуть к Парижу... Мой сын был тогда совсем маленьким... Потом я узнал, что она потребовала развод и получила его...

— И все-таки вас мучат угрызения совести, не так ли?

Минуту назад я был убежден, что совесть моя спокойна, что я всегда делал то, что должен был делать. Как она догадалась? Ведь и впрямь, с тех пор как я прочел это письмо, вернее даже, увидел этот почерк, предвещавший что-то недоброе, какая-то тяжесть навалилась мне на грудь. Я позвонил Эдди, разбудил его в шесть часов утра. И вот я еще раз выполняю свой долг.

Но этого недостаточно, чтобы совесть моя успокоилась. Бог знает, может быть, тогда, в то далекое время я не во всем был прав, когда сердился на Пэт.

Я представил ее себе старухой, худой, как скелет, с раздутым животом, похожей на ту беднягу, которая долгое время продавала фиалки на улице Кастильоне.

Я забыл лицо Пэт. Где-то должны быть ее фотографии, но я не знаю где. Надо спросить мадемуазель Соланж. Она работает в банке лет десять, и, если иногда и делает что-нибудь для меня, она уже не моя личная секретарша. Прежняя, Полина, с которой мне случалось развлекаться в своем кабинете, вышла замуж и живет теперь в Марокко. Она и наклеивала в альбом эти фотографии.

А зачем?

Мне кажется, мадам Даван движется по комнате медленнее, чем обычно, без малейшего шума, как будто у нас в доме траур.

— Наши поступки следуют за нами всюду,— говорю я не без горечи.

И так как она с удивлением смотрит на меня, я добавляю:

— Не помню, кто это сказал. Это не моя мысль. Фраза поразила меня давно, и я все больше убеждаюсь в ее правдивости...

— Вы могли бы также сказать, что никому не уйти от своей судьбы, хвчет он этого или нет...

Теперь я смотрю на нее. Из некоторых наших разговоров я понял, что она много читает, и в частности книги, которые редко читают женщины, кроме тех, что преподают в университетах. Она, кажется, много путешествовала и останавливалась в дорогих отелях — и на Лазурном берегу, и в Италии, и в Греции, и в Англии.

Весьма вероятно, что пути наши перекрещивались. Почему в один прекрасный день она явилась в контору по найму прислуги? Она могла-найти работу в каком-нибудь учреждении, в торговом доме. Я искал хорошую горничную и не думал об экономке. Она лишь постепенно сделалась моей домоправительницей, а Роза стала заниматься только уборкой и приходящей прислужгой.

— Вы собираетесь поехать в Штаты?

Я попытался угадать по ее лицу, почему она спрашивает об этом.

— Нет,— признался я наконец.— Не могу на это отважиться. Мой поверенный в Нью-Йорке примет все необходимые меры и будет держать меня в курсе...

Она определенно думает о том, правильно ли я поступаю. Невозможно жить в постоянном контакте с кем-нибудь, не оценивая его поведения и поступков.

Одобрят ли она меня? Или считает, что у меня жестокое сердце? Ведь принято думать, что у всех банкиров оно жестокое!

Она, должно быть, знает, что деньги сами по себе меня не интересуют. Конечно, я привык к известной роскоши и к свободе, которую дает только богатство. И все-таки несколько раз я желал, чтобы у меня его не было.

В Маконе мы жили в достатке, но по-провинциальному просто, и я часто с сожалением вспоминаю об этом. Отношения были теплые, все поддерживали друг друга. Семья составляла одно целое, и никто никогда не чувствовал одиночества.

А может быть, все это только кажется мне теперь? Отец много пил. Этого требовала его профессия, но в последние годы он пил слишком много и вечером, за столом, смотрел на нас мутными глазами и, едва ворочая языком, повторял то, что уже говорил в полдень, когда мы завтракали. Он сильно располнел, ходил вразвалку, выпятив живот.

Я никогда не слышал, чтобы мать высказывала недовольство по этому поводу. Он был мужчина, глава семьи. И для нас также. И все-таки я уехал, не пожелав занять его место в доме.

Почему этот период кажется мне лучшим в моей жизни? Может быть, потому, что и у нас дома, и во всем городе царил покой?

Сона мирно текла под нашими окнами, шаланды тогда еще двигались посредством конной тяги. Иные причаливали перед нашим домом, и их нагружали бочонками, которые катили через

улицу. Автомобилей было тлало. В ста метрах от нашего крыльца работал кузнец.

В Париж я приехал не из-за денег. И это не было бегством. Разве Пэт убежала? Пари держу, что, покидая-Францию с Доналдом, она не знала, что поедет в Рено требовать развода.

Я мог бы стать и бедным. Но тогда уж по-настоящему бедным. Труднее всего я примирился бы со скудными возможностями, с той скудостью, которая почти всегда обитает в уродливой обстановке.

— Вы будете отдыхать?

Она прекрасно знает, что после завтрака я всегда • отдыхаю. И все-таки задает этот вопрос, будто я могу ответить отрицательно. На самом деле, этот отдых еще не стал для меня потребностью. Четыре года назад, когда я руководил банком, я не отдыхал днем.

Я не всегда засыпаю. Скорее, прихожу в какое-то приглушенное состояние. Понемногу образы путаются у меня в голове, возникают воспоминания, порой неожиданные, почти всегда неясные, и я никогда не знаю, какое сейчас всплывет.

Я не раздеваюсь и не ложусь в постель. Иначе мне казалось бы, что я заболел. Или умер. Когда я лежу на спине, сложив руки натруди, мне иногда кажется, что я умер, и я воображаю свечи, веточку букеа в освященной воде, шепот вокруг меня. Тогда я тороплюсь разнять сложенные руки..

— Спокойного отдыха, мосье,— говорит она, тихонько прикрывающая дверь. И я остаюсь один.

Я спрашиваю себя, не был ли'я всегда один. Я был женат три раза — и каждый раз верил в свой брак, каждый раз был искренним. У меня трое детей, или, вернее, было трое детей, потому что один из них теперь умер. У меня есть и внуки в Париже и в Ньюарке.

Пэт одинока на своей больничной койке; она наблюдает за чужими ей женщинами, которые тоже наблюдают за ней, и каждой хочется знать, страдают ли другие так же, как она.

Хорошо бы Кандиль зашел сегодня. Он иногда приводит ко мне обедать и мы проводим вечер в болтовне, лениво перескакивая с одной темы на другую. Днем он встречается только с больными, и можно полагать, что он к этому привык.

— Думаю, немногие из нас в самом деле привыкают,— признался он однажды вечером, когда пришел ко мне прямо от пациента. Знать, что мужчине или женщине, которых вы покидаете и которые с улыбкой благодарят вас, осталось до смерти несколько недель или несколько, дней и что, вероятнее всего, после нее жизнь многих людей, целой семьи, совершенно изменится..

А что изменится после моей смерти? Кто будет распоряжаться в банке? Чужие люди. Группа финансистов. Или банк сольется с другим, более крупным, согласно нынешней тенденции.

Двое моих сыновей от Жанны Лор'ан не проявили никакого

желания работать со мной. Они намеренно удалились, как я когда-то удалился из Макона.

Но в Маконе все же остался мой брат, который продолжал виноторговое дело. А потом сын брата...

Шторы опущены. Я лежу в темноте, с закрытыми глазами, и шум на Вандомской площади будто куда-то отступает.

Я не сплю, но уже почти задремал. Почему она спросила, мучат ли меня угрызения совести? Я говорю о мадам Даван. Так как чаще всего люди умирают ночью или на рассвете, по всей вероятности, это она закроет мне глаза. А кто меня обмоет? Тоже она? Весьма возможно... Из всего, что связано со смертью, это для меня самое неприятное. Было бы хорошо, если бы мы могли вовремя позаботиться, чтоб уйти из этого мира чистыми.

В своем письме Пэт пишет, что перед смертью их куда-то увозят. Значит, в больницах есть комнаты для умирающих. Потом их отправляют в больничный морг, а постель дезинфицируют.

Сейчас Эдди уже на пути в Бельвию. Этот человек полон жизни, веселый, энергичный. Он и не подозревает, что настанет день, когда у него начнутся разные недомогания, появятся едва заметные боли, то тут, то там.

Долго тянешь, прежде чем обратишься к врачу. Наконец решаешься и, пока он тебя осматривает, тоскливо ждешь его приговора.

— Это пустяки...

Вначале это всегда пустяки. У Пэт началось с того, что она похудела и стала сильнее уставать после рабочего дня.

Тревожные сигналы звучат все чаще и чаще, и врач, чтобы обмануть вас, задает вам вопросы подчеркнуто бодрым тоном.

А как обстоит дело со мной? Почти уверен, что неплохо. У меня хороший аппетит. Прекрасное пищеварение. Ночью я почти всегда сплю спокойно.

Каждое утро я хожу в клуб, полчаса прилежно занимаюсь гимнастикой. Затем Рене массирует меня, и у меня еще хватает сил поплавать.

Жак, мой старший сын, совсем собой не занимается. Иногда по целым дням не выходит из своей галереи на улице Жакоб. Я редко его вижу. Он не испытывает потребности общаться со мной, кроме тех случаев, когда бывает в затруднительном положении.

Я чуть не сказал, что это законченный эгоист, но тут же вспомнил, каким был я в семнадцать лет и как редко писал родителям. Во время войны 1914 года, получив отпуск, я и не подумал съездить в Макон, предпочитая весело провести эти несколько дней в Париже.

Я никогда не говорю о войне. Хвастаться кажется мне смешным. Терпеть не могу людей, которые без конца рассказывают о своих военных подвигах.

Хочу только сказать, что мне везло. Как и мои товарищи, я выполнял данные мне задания и сбил несколько немецких самолетов. Я не был ни убит, ни ранен, а это судьба лишь немногих из

нашей эскадрильи. Однажды я сделал вынужденную посадку за линией фронта, и все-таки мне удалось вернуться, избежав плена.

Мне жарко. Я гоню от себя образ Пэт, которая все больше становится похожей на нищенку с улицы Кастильоне, и стараюсь ни о чем не думать.

Быть может, я напрасно оставил пост директора банка?

Я не позвони л доктору Кандилю и не просил его провести со мной вечер. Сделаю это завтра или в другой день, когда не буду в таком мрачном настроении. Вторая половина дня его не улучшила. Днем я спал плохо и почти наяву мне привиделся настоящий кошмар.

Когда мадам Даван подняла шторы и, как всегда, подала мне чашку кофе, я выпил ее машинально, без обычного удовольствия.

— Мне никто не звонил?

— Нет, мосье.

Впрочем, вопрос был излишним. Паркер еще не успел съездить сначала в Бельвию, потом в Ньюарк, штат Нью-Джерси.

Я сменил халат на пиджак и спустился в телетайпный зал, где, кроме Жюстена Руа, в обязанности которого входит следить за биржевыми курсами, двое или трое клиентов, сидя в креслах, молча делали пометки в записных книжках.

Я сел и тоже стал смотреть на цифры, которые появлялись на полосках белой бумаги.

Какая-то тяжесть навалилась на меня. Быть может, плохое предчувствие? Сейчас, когда я неподвижно лежал на кровати, пытаюсь уснуть, мне казалось, что болезнь Пэт, самоубийство Доналда лишь начало целой вереницы несчастий.

Я не суеверен, но в финансовых делах и карточной игре моя интуиция редко меня обманывала. Иначе банк Перре-Латура не мог бы существовать.

Неужели и в личной жизни я должен верить своей интуиции? Может быть. Не знаю. Предпочитаю не знать.

Почему вдруг вереница несчастий? И кто будет следующей жертвой, пока не наступит мой черед?

Не хочу об этом думать. Я внимательнее смотрю на цифры, забавы ради стараюсь угадать, какие сейчас появятся. И почти всегда угадываю.

В пять часов возвращаюсь к себе в кабинет и спрашиваю мадемуазель Соланж, не звонили ли из Нью-Йорка. Дождь все еще идет, теперь это настоящий дождь, его косые штрихи четко видны на фоне серых камней домов. Колонна посреди площади почернела и блестит. Стало так темно, что мне приходится зажечь лампы. Огни зажглись и в магазинах на площади.

Я читаю дневные газеты. Выкуриваю сигарет вдвое больше обычного. Сигару я курю только иногда вечером, после обеда, сидя в кресле и словно вознаграждая себя за что-то.

Я вспоминаю, что, когда я был маленьким, три или четыре

коробки сигар всегда стояли на камине: отец открывал их только для гостей или для солидных клиентов.

В шесть часов я высчитываю, что в Нью-Йорке наступил полдень. Дверь банка закрыта с четырех часов, но служащие кродолжают работать до шести. Заглядывает мадемуазель Соланж в бежевом плаще и бежевой шапочке.

— Я вам больше не нужна?

— Нет, спасибо, милочка. До завтра.

Куда она идет? Что делает, когда она не в банке? Понятия не имею. Я часто задавал себе этот вопрос, когда еще руководил банком и хорошо знал всех служащих. Точнее, я знал их по конторе, где они проводили приблизительно одну треть своего времени.

По этой трети я и судил о них. Думаю, что для некоторых, особенно для заведующих отделами, эта треть жизни была самой значительной, что дома они вели серое существование, полное мелких забот, и не пользовались в семье ни авторитетом, ни уважением.

Несколько минут я болтаю с Габильяром. Это хороший директор. Он еще молод и может долго оставаться на своем посту. Он и не подозревает, что я ему завидую.

Я записываю свои мысли, свои настроения беспорядочно, но в той последовательности, в которой они появлялись. Иногда приходят в голову забавные вещи, например то, что я сейчас записал. У меня нет никаких причин завидовать Габильяру, да я, по-настоящему, ему и не завидую.

Такие мысли, едва сформулированные, возникают у человека, когда он подавлен. Если бы я завидовал возрасту Габильяра и тому, что он будет жить еще долго, у меня было бы больше оснований завидовать младенцу, которому от роду всего несколько дней.

Мне везло: я осуществил в своей жизни почти все, что задумал. До сих пор я был избавлен от многих моральных и физических страданий, которые претерпевает большинство людей. Значит ли это, что я готов прожить жизнь сначала? Я думаю об этом уже не впервые и каждый раз отвечаю себе: нет. Ни всю жизнь целиком, ни какую-либо ее часть. Оглядываясь назад, в каждой поре я нахожу что-то мешающее мне, что-то незаконченное.

Часто мне бывает стыдно за того, кем я был в тот или иной период своей жизни.

Так на что же я жалуюсь? Впрочем, я не жалуюсь. Известия, полученные из Америки, взволновали меня больше, чем можно было ожидать, и я тороплюсь покончить с этой заботой. Конечно, поэтому я с таким нетерпением жду телефонного звонка Эдди.

Я остаюсь в конторе один до семи часов, сам тушу повсюду свет, запираю двойную дверь, предварительно удостоверившись, что сигнальная система включена.

Наш банк никогда не пытались ограбить. И среди наших служащих никогда не было ни одного жулика.

Поднявшись на третий этаж, я иду в гостиную, где расхажи-

ваю, заложив руки за спину. Гостиная очень просторная. У меня здесь бывали приемы на двести человек.

Буфет устраивали тогда под большим полотном Пикассо, которое я купил сразу после войны. Оно не столь прославлено, как «Авиньонские барышни», но нравится мне больше. Я никогда не приобретал произведений искусства только потому, что они дорогие, или потому, что их можно выгодно продать.

Не знаю почему, года с тридцать шестого я перестал посещать галереи и мастерские художников. Как ножом отрезало. Сегодняшнее искусство меня не волнует. Я, разумеется, не прав — с какой стати художникам настоящего быть менее гениальными или талантливыми, чем художники, вчерашнего или позавчерашнего дня.

Конечно, вкусы каждого из нас меняются. Я любил импрессионистов, потом фовистов. У меня "есть Вламинк 1908 года — буксир на Сене кроваво-красного цвета,— который освещает весь угол гостиной.

У меня есть также и Брак, я продолжал страстно увлекаться живописью до конца сюрреализма, если можно считать, что он уже кончился.

Хоть бы Эдди позвонил, поскорее!. Я люблю свою гостиную. Люблю свою квартиру такой, какой я ее задумал и устроил. Люблю также Вандомскую площадь, ее утонченную архитектуру, правильность ее пропорций.

Будет ли и через несколько лет кто-нибудь жить в квартире вроде моей? Маловероятно. Мир меняется, и это естественно. Я первый приветствую все изменения, а пока немного стыдливо наслаждаюсь тем, что мне еще дозволено иметь.

Мой сын Доналд, который не говорил по-французски и, должно быть, удивлялся своей фамилии Перре-Латур, погиб оттого, что у него не было небольшой суммы денег поддержать свое скромное предприятие. Если бы он обратился ко мне, я бы помог ему без колебаний. Я дал бы ему все, чего бы он ни захотел.

Я дал бы и Пэт все, что ей нужно, но она не сообщила мне о своих трудностях, а предпочла работать в сомнительном отеле в районе доков.

Оба они меня оттолкнули, не знаю почему — ведь по совести говоря, я этого не заслужил. Они знали, что во время войны я не мог поддерживать с ними связь. Почему же они потом возвратили посланные мною чеки в нераспечатанных конвертах? А может, Пэт переехала на другую квартиру?

У бедняков есть гордость, а она стала бедной после смерти своего мужа.

В сущности, я не очень о них беспокоился и совсем о них не думал. Вот почему сегодня утром я так удивился, узнав, что Доналду было сорок два года, что у него самого трое детей и старшему уже двадцать. Мне каждый раз приходится высчитывать возраст также и других моих детей. Время идет слишком быстро.

А большинство людей к тому же отпихивают друг друга, чтобы пройти по жизни еще быстрее.

Я открываю винный погребок красного дерева и наливаю себе рюмку старого портвейна. Я пью мало. Слава богу, про меня никогда нельзя было сказать, что я люблю выпить.

Слышно, как в столовой накрывают к обеду; сейчас мне доложат, что кушать подано. Значит, Паркер своим звонком оторвет меня от еды.

Телефон уже звонит. Я бросаюсь к аппарату. Снимаю трубку и сажусь в кресло.

— Алло! Франсуа?..

Это не Эдди. Это Жанна Лоран.

— Добрый вечер, Жанна...

— Я тебе не помешала?

— Я все еще жду звонка из Нью-Йорка. Но может быть, Эдди позвонит гораздо позже...

— Ты не очень хандришь?

— Не очень...

— Я тоже много думала о Пэт. Сколько сейчас лет этой бедной девушке?

— Шестьдесят два года...

— А мне уже шестьдесят...

Она сказала бедная девушка, а не бедная женщина.

— Ты, наверное, не хочешь, чтобы я зашла к тебе сегодня вечером?

Хочу ли я, чтобы она пришла сегодня? Я отвечаю довольно вяло:

— А почему бы тебе не зайти?

— Нет. Сегодня не подходящий день... Да это и не срочно...

— У тебя тоже неприятности?

— Нет...

— С кем-нибудь из детей?

— Да нет, ничего...

— Как поживает Натали?

Натали скоро исполнится шестнадцать. Это моя внучка, дочь Жака, моего сына, у которого галерея на улице Жакоб. Он женился совсем молодым на прелестной девушке, очень живой, но четыре года спустя она погибла в автомобильной катастрофе. Жак не женился вторично. Довольствуется любовницами, которых меняет довольно часто.

Жанна Лоран взяла к себе Натали, и они живут вдвоем в квартире на бульваре Распай.

Время от времени Натали заходит ко мне, и мне всегда кажется, будто она смотрит на меня с удивлением, может быть, даже насмешливо.

— Хорошо... По-моему, слишком много развлекается, но она это выдерживает... Я тебе позвоню через два-три дня...

— Буду рад...

— Ну, пока до свидания, Франсуа...

— До свидания, Жанна...

Прежде мы прощались в постели. Все это странно и очень сложно. Я выпиваю налитую рюмку и иду в столовую. Телефонный звонок не прерывает моего обеда. Мадам Даван ходит вокруг меня; иногда мы перекидываемся несколькими словами.

Потом я опять сижу в своем кабинете, где вся мебель и стены обиты кожей. Читать меня не тянет. Я не могу никуда выйти. Наконец, около девяти часов, раздастся звонок. Это Нью-Йорк, и почти сразу я слышу низкий голос Эдди.

— Hello, Франсуа... I ага зоггу...— Он переходит на французский язык. — Простите, чт звоню так поздно, но я недавно вернулся, а тут возникло одно важное дело...

В Нью-Йорке сейчас три часа; самое горячее время, особенно для финансиста.

— Ты видел Пэт?

— Да...

— Ну как она?

— Плохо. Она смотрела на меня с удивлением, будто не меня ожидала.увидеть. Я сказал ей, что приехал по твоему поручению, что я твой друг, что я уже договорился и ее переведут в отдельную палату. Она нахмурилась и посмотрела на другие кровати. Я почувствовал, что она колеблется. Наконец она покачала головой.

— Нет. Я лучше останусь здесь. Мне будет скучно одной...

— Вам пригласят специальную сиделку, которая все время будет при вас...

Она снова подумала. У меня создалось впечатление, что эта женщина много размышляет.

— Сиделка совсем другое дело...

Вы понимаете, Франсуа, она привыкла видеть других больных, и ей бы их не хватало...

Я сообщил ей, что оставил пять тысяч долларов в конторе больницы, и она прошептала:

— На похороны?

Я сказал ей также о том, как ты радуешься, что она поправляется. Тогда она спросила:

— А он не болеет?.. Он ведь гораздо старше меня...

Простите, Франсуа, но я подумал, что вы хотите знать все.

Она оживилась, лишь когда я сказал ей, что еду в Ньюарк.

— Вы думаете, он их выручит? Элен хорошая женщина, очень достойная... Боб, ее старший сын, способный мальчик, и я уверена, что если у него будут средства...

— Ваш бывший муж поручил мне предоставить эти средства...

— Даже если это большая сумма?

— Я должен сделать все необходимое...

— Хорошо... Тогда поблагодарите его от меня...

Я понял, что беседа окончена и разговор о чем-либо другом ей неинтересен. К тому же она закрыла глаза, как бы давая понять, что мне пора уходить...

— Вы видели врача, который ее лечит?

— Я подошел к нему в коридоре, когда он делал обход. Его фамилия Фейнштейн; он произвел на меня впечатление способного человека... И очень добросовестного... Прежде чем ответить на мои вопросы, он захотел узнать, кто я, почему интересуюсь Пэт, я все объяснил ему.

— Она права,— заметил он, когда я заговорил с ним об отдельной палате.— Таким женщинам необходимо чувство локтя...

— Наверное, у нее рак?

— Да, рак матки. Метастазы распространяются быстро, и хирург сомневается в целесообразности операции... Мы пытаемся уменьшить число зараженных клеток, прежде чем пойти на вмешательство...

— У нее есть шансы поправиться?

— Если операция будет удачной, ей останется жить год или два, может быть, три...

— И она будет жить нормальной жизнью?

— Она будет жить...

— Но останется больной?

— Конечно...

— А что вы делаете в таких случаях?

Он понял смысл моего вопроса и посмотрел на меня довольно холодно, будто я затронул его профессиональную честь.

— Делаем все возможное,— уронил он.

Наконец, когда я решился заговорить с ним о деньгах, он попросил меня обратиться к администрации больницы и направился к дверям одной из палат.

Вот все, что касается Пэт... Простите, что я не могу сообщить вам ничего лучшего.

Затем я поехал в Ньюарк, где довольно быстро нашел гараж и бензиновые колонки. В конторе, отделенной стеклом от мастерской, сидела женщина с исхудавшим лицом, непричесанная.

С карандашом в руке она изучала толстую пачку счетов и заносила цифры в блокнот.

Должно быть, прежде она была хорошенькой. Пепельная блондинка с очень белой кожей, но, вероятно, никогда не отличалась крепким здоровьем.

Я сказал ей, кто я, и добавил, что приехал по вашему поручению. Молодой человек в синем комбинезоне, который ремонтировал машину, вошел в контору и недоверчиво оглядел меня с головы до ног.

— Что ему нужно? — спросил он у матери.

— Он приехал по поручению твоего дедушки.

— Значит, он еще существует, этот дедушка?

— Вы Боб? — спросил я.

— Да. И что дальше?

— Как вам кажется, вы справитесь, если будете продолжать дело?

— А почему бы мне не справиться?

— Вы любите эту работу?

— Так я ведь с детства занимался механикой.

— Сколько нужно денег для уплаты всем кредиторам?

Он повернулся к матери, нахмурился.

— Кто ему все рассказал?

— Оказывается, бабушка написала в Париж...

— Ладно. У нас есть долги, это правда, но гораздо меньше, чем воображают, и я, например, не верю, что отец поступил так из-за долгов... Ведь она, конечно, и об этом написала... Из Кореи он вернулся больным, у него бывали приступы лихорадки, и тогда он не помнил себя... Это никого, кроме нас, не касается... Ну а наши долги... Что ты скажешь, мама?

— По-моему, если бы у нас было десять тысяч долларов...

В это время другой мальчишка, лет пятнадцати, вернулся из школы и стал наблюдать за нами через стекло. Его брови тоже были нахмурены. Должно быть, вся семья потрясена поступком отца.

— Чем же все это кончилось? ,

— Я подписал чек на двадцать тысяч долларов. Они глазам своим не верили, перечитали чек два или три раза, но все равно не могли поверить.

— Ваш свеко\_р вам напишет,— обещал я этой женщине.— Подтвердит, что при малейших затруднениях вы можете теперь обращаться к нему...

Я слушаю рассказ Эдди, пытаюсь представить себе ту сцену, глаза обоих мальчиков, один из которых смотрел через застекленную клетку, усталые глаза Элен, которой я никогда не видел. Там есть еще девочка, но Эдди ничего не сказал о ней; наверное, она была в школе.

— Насколько я мог судить, они почувствовали облегчение, поняв, что с заботами покончено. И все же что-то их стесняло. Для них это было слишком неожиданно, почти таинственно, словом, они, очевидно, предпочли бы, чтобы спасение пришло не от вас...

— Кажется, я понимаю...

Признаюсь, я порядком удивился, услышав, как этот толстокожий Эдди Паркер убежденно произнес:

— Я тоже...

Никогда не думал, что он способен понять такие тонкости.

— Благодарю вас, Эдди...

— Не за что... Сделал, что мог... Я обещал навестить их еще раз через несколько дней. Я не решился предложить им послать кого-нибудь из наших счетоводов, чтобы привести в порядок дела...

— Они могли бы обидеться...

— Я тоже так думаю... На вашем месте я бы написал им... И вашей бывшей жене тоже...

— Может быть... Напишу...

— Вам нездоровится?

— Я немного подавлен... Это пройдет...

— Доброй ночи, ведь у вас уже вечер...

— Всего хорошего, Эдди... Еще раз спасибо...

Я медленно кладу трубку, и меня поражает тишина, царящая в квартире. Мгновение мне кажется, что на всем этаже, во всем доме нет никого, кроме меня, что все меня покинули.

Все же я остаюсь в кресле и, сохраняя достоинство, не нажимаю кнопку звонка, чтобы позвать кого-нибудь.

Вокруг так пусто... Жизнь моя такая...

Нет! На этот раз я выпрямляюсь. Я не хочу распускаться. Возвращаюсь в гостиную, где потушен свет, и зажигаю все лампы, в том числе и большую люстру. Будто у меня прием. Будто сегодня праздник. Хожу взад и вперед по комнате, положив руки в карманы. Жалею, что ставни закрыты и я не вижу Вандомской площади, силуэтов прохожих, которые пересекают ее под дождем.

Хочу закурить сигару. Обхожу зал раз десять, оглядывая каждую картину, мебель, каждую вещь.

Разве во всем этом не заключена какая-то частица меня самого в ту или иную пору моей жизни? Я могу поставить 'дату на каждой вещи, сказать, при каких обстоятельствах и в каком настроении приобрел ее.

Как они будут делить все это? Перед ними возникнут сложные задачи. И как моя парижская семья примет моих американских наследников?

При этой мысли у меня мелькает улыбка. Мне на минуту кажется, что я здорово подшутил над всеми ними.

Это подбадривает меня. Я беру себя в руки. Гашу свет, прохожу через кабинет в спальню и вызываю туда мадам Даван.

— Пожалуй, лучше принять снотворное... Какое так хорошо помогло мне в прошлый раз?

— Сейчас принесу...

Постель разобрана, пижама лежит на ней с забавно раскинутыми рукавами.

Полчаса спустя я засыпаю, а утром, когда поднимают шторы, вижу бледное небо и чувствую запах кофе.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Я в своем кабинете в банке с пяти минут десятого; за окном Вандомская площадь, светлая и веселая. Однако сегодня ветрено — белые, золотистые облака быстро бегут в небе, и прохожим приходится придерживать шляпы, чтобы их не унес порывистый ветер.

Лето кончилось. Настоящая осень еще не наступила, хотя вчера, когда я проезжал через Елисейские поля, направляясь на авеню Фош, земля уже была усыпана опавшими листьями.

Я думаю, не позвать ли мадемуазель Соланж, чтобы продиктовать ей два письма, которые необходимо отправить. Сам я пишу только в крайнем случае, обычно короткие вежливые записки, отказываясь от приглашения или принимая его.

Мой почерк тоже стал неровным — еще один признак старости. Это меня раздражает. После того, как я напишу несколько строк, рука начинает дрожать.

Сначала Пэт. Что мне сказать ей? Я очень огорчен ее тяжелым положением. Я предпочел бы, чтобы жизнь ее окончилась более счастливо, однако к ее судьбе я все же отношусь как к судьбе постороннего человека.

Она была моей женой. Когда мы поженились в Нью-Йорке, мы оба думали, что всю жизнь проведем вместе, что не сможем обойтись друг без друга.

Мы спали в одной постели. Наши тела сливались воедино. Она, как говорится, подарила мне сына. Терпеть не могу этого выражения. Почему родить ребенка — значит сделать подарок?

Почти сорок лет я ничего о ней не слышал и относился к этому спокойно. Она как-то сразу стала мне чужой, и сейчас она мне тоже чужая. Мои чувства к ней совсем не похожи на то, какой мы представляем себе любовь, когда нам двадцать лет. Может быть, я не способен любить? В таком случае, она тоже. Я знал немало супружеских пар, которые потом превратились в посторонних друг другу людей.

*«Дорогая Пэт».*

Разумеется, я пишу по-английски. Если она не научилась французскому языку в Париже, то, конечно, не занималась им в Нью-Йорке. Стараюсь писать крупнее и четче, чем обычно, чтобы ей не трудно было прочесть мое письмо.

*«Я очень огорчился, когда узнал, что твоё здоровье оставляет желать лучшего и что ты теперь находишься в Бельвю. Я хотел бы навестить тебя, но сейчас не могу уехать из Парижа».*

Получилось плохо и неискренне, и я сержусь на себя за свой равнодушный, холодный тон. Если вчера я и был подавлен — а я отдаю себе в этом отчет, — то жалости к ней или к сыну не испытывал.

Настоящая причина в том, что я понял: навсегда уходит какая-то часть моего прошлого. Мне вдруг напомнили, что это очень далекое прошлое, что будущее сокращается, продолжает сокращаться с головокружительной быстротой.

Вот уже Пэт стала обреченной на смерть, старой женщиной!

*«Я послал к тебе одного из моих друзей, просил его помочь тебе и сделать все необходимое, чтобы по возможности облегчить твою жизнь. Я давно его знаю. Он позвонил мне после того, как повидал тебя, и сказал, что ты держишься молодцом...»*

Это неправда, но людям всегда доставляет удовольствие думать, что они держатся молодцом.

*«Он говорил также с доктором Фейнштейном, который произвел на него отличное впечатление. Оказывается, он первоклассный»*

*врач и очень интересуется тобой. Через некоторое время тебе, может быть, предстоит легкая операция, после которой ты снова окрепнешь...»*

Неужели мне тоже будут лгать с такою же непринужденностью? И я так же буду верить?

*«То, что случилось с Доналдом, должно быть, глубоко тебя потрясло. Я тоже, хоть и не видел его так давно, очень опечален. Судя по тому, что мой друг Паркер рассказал мне, ему очень не повезло на войне в Корее; жаль, что он не обратился ко мне, когда у него начались затруднения.*

*Паркер видел его жену и старшего сына. Элен — достойная женщина, а Боб — серьезный и зрелый не по годам юноша. Газетная и заправочная станция останутся у них. Будет сделано все необходимое, чтобы, удовлетворить кредиторов, и в дальнейшем у них не должно быть неприятностей. Можешь на меня положиться.*

*В ближайшие недели я попытаюсь приехать в Нью-Йорк...»*

Это неправда. Я не желаю оказаться лицом к лицу с этими призраками. Да и вообще я теперь не путешествую.

*«Надеюсь, что увижу тебя бодрой и обниму моих внуков...»*

Я стыжусь этой сентиментальной фразы. Я помогаю им и, конечно, буду помогать и дальше. Меня с ними связывают родственные узы, но я этих уз не ощущаю.

*«Держись по-прежнему молодцом, наберись терпения. До скорого свидания, дорогая Пэт. Обнимаю тебя».*

Я колебался, писать ли эти последние слова, потому что мне, наверное, нелегко было бы поцеловать ее. Я чуть было не поставил, как это принято в деловых письмах, свою фамилию в конце, но вовремя остановился и написал только имя.

Это письмо потребовало от меня больше усилий, чем потребовало бы несколько лет назад целый рабочий день. Я подхожу к окну и зажигаю сигарету, глядя на фасад отеля «Риц», который виднеется за бронзовой колонной. Вокруг летают голуби. Я никогда не обращаю внимания на голубей, не знаю почему — они ведь тоже дополняют пейзаж.

Лучше сейчас же покончить и со вторым письмом. Кому адресовать его? Моей невестке? Я с ней незнаком. Я знаю о ней только то, что мой друг Эдди сказал мне вчера по телефону. Я знаю не больше и о старшем из своих внуков. Дорогая Элен? Так не пишут незнакомой женщине.

*«Мой дорогой мальчик...»*

Это более нейтрально, и в конце концов именно он станет главой маленькой семьи в Ньюарке.

*«Как только вчера утром я получил письмо от твоей бабушки с сообщением о несчастье, которое...»*

Нет! Это слишком прямо.

*«...с сообщением о том, что произошло, я хотел сесть в самолет и полететь к вам. Но, увы, я уже не молод, и сейчас мне запрещены далекие путешествия...»*

Я не решаюсь, быть может из суеверия, говорить так о своем здоровье. Я вполне могу провести несколько часов в самолете, но у меня не хватает духу начать письмо сначала.

*«Я жалею такж?, что никогда не получал известий от твоего отца, адреса которого у меня не было, и что не имел прежде возможности помочь ему. Теперь ему уже не поможешь, но я хочу, чтобы твоя мама и вы трое отныне жили без забот...»*

Я покраснел, написав слово «мама». У меня такое чувство, будто я проявляю малодушие, едва ли не совершаю предательство. На самом деле я не говорю так. И не думаю. Я словно хочу искупить какой-то грех. Однако вины за собой не знаю.

Может быть, в прошлом? Тоже нет. Я не виноват перед ними.

*«Тебя посетил мой друг Эдди Паркер; наверное, он оставил тебе свой адрес. Ты можешь полностью доверять ему. Я знаю его давно: он поверенный в моих делах в Нью-Йорке.*

*Он рассказал мне по телефону, какое прекрасное впечатление ты на него произвел. Я надеюсь, что ты сможешь теперь работать в лучших условиях, и уверен, что твоя мать будет тебе отличной помощницей.*

*О ней мой друг Паркер говорил мне тоже лишь хорошее. Жаль только, что она неважно себя чувствует, но это вполне понятно в сложившихся обстоятельствах.*

*Я думаю о ней, и она всегда может рассчитывать на меня. Передай твоему брату и сестре самые лучшие пожелания от их далекого дедушки.*

*Мне не терпится познакомиться со всеми вами. Искренне ваш...»*

Уф! Не решаюсь перечитать. Быстро заклеиваю оба конверта и несу их в секретариат, пока не поддастся соблазну разорвать.

— Пошлите, пожалуйста, поскорее!

— Срочно?

— Авиа и срочно...

Несмотря ни на что, я все же еду в клуб, полчаса занимаюсь

гимнастикой, захожу к массажисту, потом немного плаваю. Когда я вновь выхожу на авеню Фош, ветер уже стих и солище пригревает.

— Подождите меня на Елисейских полях, на Круглой площадке,— говорю я Эмилию.

Мне хочется немного побыть среди уличной толпы. Иногда я с удивлением смотрю на прохожих, будто они явились с другой планеты.

В сущности, я много достиг еще совсем молодым. Я имею в виду материальную сторону. Даже когда я жил в Латинском квартале, мне не приходилось класть зубы на полку: отец посылал стельку, что мне вполне хватало на все мои нужды.

Почти два года я жил вместе с Розали Буйе, славной и неприятзательной девушкой, быть может, лучшей из всех женщин, с которыми меня сводила судьба.

Я встретил ее в Люксембургском саду, она сидела на одном из желтых стульев, а может быть, и на террасе кафе Аркур. Тогда у меня еще находилось свободное время, и мне случалось присаживаться где-нибудь и смотреть на прохожих. Почему потом я никогда больше этого не делал?

Она была полненькая, румяная, со светлыми волосами. От нее исходил приятный и здоровый деревенский запах. Мы поужинали в какой-то пивной; она ела с необыкновенным аппетитом, а потом без всякого жеманства пошла со мной в мой гостиничный номер.

Сколько ей было лет? Двадцать пять или двадцать шесть — мы познакомились вскоре после войны четырнадцатого года.—Мой отель находился на улице Эперон, в самом центре Латинского квартала, и назывался «Отель короля Иоанна». Я так —никогда и не узнал, в честь какого Иоанна он был назван, но помню, что фамилия хозяина была Ганье, а имя Изидор.

Потом мы с Розали поселились в меблированных комнатах на улице Лекёр. В то время я учился на факультете права и дружил с Максом Вейлем, тем самым, который подал мне мысль заняться банковским делом и который погиб в Бухенвальде.

Я чуть было не женился на Розали. Она еще не оторвалась от своей деревни и была совсем необразованная. Но разве, жен выбирав за умение вести разговор?

Зато она обладала тем, что я ценю выше всего: жизнерадостью и ровным настроением. Просыпаясь или ложась спать, она всегда была веселой. Для нее не существовало никаких сложностей, и она довольствовалась тем, что выпало ей на долю.

Такою же, в общем, была и моя мать. Только сегодня я заметил это сходство между ними. У матери был тот же ровный характер, и отцу повезло, потому что порой с ним нелегко приходилось.

Удачным ли оказался бы наш брак с Розали? Мы отпраздновали вместе с Вейлем и его подружкой день, когда я получил степень доктора права. Мой отец скончался. Я проработал несколько недель в банке Вейля и Дусе на улице Лаффит, и Жа-

коб Вейль, отец Макса, посоветовал мне стажироваться в Нью-Йорке.

Розали проводила меня на вокзал, всплакнула. Я и не подозревал, что вернусь женатым и уже почти отцом семейства. Больше я ее никогда не видел. Сразу по возвращении я мог бы поискать ее в кабаках на Левом Берегу, но тогда я думал только о Пэт.

В водовороте жизни я забыл о Розали и, когда, гораздо позже, захотел узнать, как она живет, уже не мог ее разыскать.

Может быть, она вернулась в свое родное Берри и вышла замуж за парня из своей деревни? Не знаю, как она называется. Мне\*\*не приходило в голову спрашивать об этом Розали. Знаю только, что она находится где-то возле канала.

Розали могла выйти замуж и в Париже. Ей бы очень пристало, например, стоять за прилавком молочного магазина. Если только она не пошла по плохой дорожке. А жаль было бы.

Она была со мной, когда я еще не потерял связь с улицей, с реальной жизнью^ с жизнью безыменной толпы, которая движется по тротуарам и в определенные часы ныряет под землю у станции метро.

Сколько раз я пользовался метро? Раза три, не больше. Одно время "я, правда, ездил на "автобусе, но очень быстро привык к такси.

Елисейские поля изменились. Я знал их, когда там почти не было магазинов, а ресторан Фуке казался мне недостижимо роскошным.

Я смотрю на вход в метро на улице Георга V, на мужчин и женщин, которые спускаются по лестнице, и думаю, почему я отошел от них?

Из тщеславия? Возможно, что я и был тщеславным. Но я в этом не уверен. Ведь думал же я одно время жениться на Розали.

Я говорил о том, что меня затащило. Это действительно так. Раз уж' я занялся банковским делом, пришлось идти по этой дороге до конца.

Когда я женился на Пэт, мы жили уже в роскошном отеле на бульваре Монмартр, и я мог покупать ей довольно дорогие подарки. Для нее я впервые зашел к ювелиру на улице Мира; потом я стал одним из его постоянных клиентов.

Пэт не хотела верить, что это настоящие драгоценности. В Соединенных Штатах можно найти золото четырнадцатой, даже одиннадцатой пробы, и она была убеждена, что я дарю ей драгоценности такого сорта.

А вот Жанна Лоран равнодушна к драгоценностям. Вечерние платья я видел на ней только черного шелка, очень простые, которые были для нее вроде формы.

Она часто одевалась в черное, и это ей шло. Она и сейчас носит черное. Ее вкусы не изменились.

К тому времени я купил банк на Вандомской площади. Наша связь уже началась. Мы жили вместе, когда я узнал, что Пэт

получила развод в Рено, и я настоял на том, чтобы мы выпили по этому поводу шампанского.

— Что ты теперь будешь делать?

•— Женюсь на тебе.

•— Зачем? Ты действительно этого хочешь?

— Да.

— Я могу жить с тобой и без этой формальности,

— А если у нас будут дети?..

— Ты хотел бы еще детей?

— Может быть. Не знаю.

— Ты позволишь мне продолжать работать?

Я колебался. Жанна не хотела бросать свою профессию. Она выросла среди газетчиков и обожала журналистику.

— А почему бы нет?

— Я не всегда буду свободна. Мне придется ездить...

— И мне тоже... Видишь ли, мы ведь не только любовники, но и друзья...

Любовники исчезли, так же как и супруги. Друзья остались. Когда освободилась квартира над банком, Жанна помогла мне ее обставить. У меня было несколько полотен, но она лучше меня знала художников и на бульваре Монпарнас была своим человеком.

Она-то не потеряла связей. Я хочу сказать, с жизнью. С людьми. Этого требовала ее профессия. Она вращалась в различных кругах и всюду чувствовала себя свободно.

Теперь она возглавляет самый крупный женский журнал в Париже, и я уверен, что она продолжает бывать всюду. Я знаю о ее частной жизни лишь то, что она живет в квартире на бульваре Распай вместе с нашей внучкой Натали.

Иногда мы завтракаем вдвоем, почти всегда в ресторане. Разглядываем друг друга с невольным любопытством, но не задаем никаких вопросов.

Мы говорим о детях. Она ближе к ним, чем я, поэтому рассказывает мне о них все новости. Ее беспокоит Жан-Люк, которому теперь тридцать четыре года.

Он никогда не мог принять образ жизни, который мы вели на Вандомской площади, и еще совсем молодым взбунтовался. Совсем неглупый, он очень плохо учился в лицее и провалился на выпускных экзаменах. Ему было тогда восемнадцать лет, и он пошел добровольцем в десантные войска.

На это требовалось мое разрешение, и я не возражал, понимая, что препятствовать ему бесполезно. Раз в два или три месяца мы получали от него открытки.

Он появился в штатском, уже когда мы с Жанной развелись.

— Что это на вас нашло?

— У нас были разные интересы. Твоя мать не мыслит жизни без журналистики, и у нее совсем не остается времени. У меня тоже много обязанностей...

— Ты женишься снова?

— Не думаю. Однако все возможно.

Я не решался спросить, какие у него планы. Он гораздо выше, гораздо плотнее меня, настоящий атлет.

— Попробую найти место спортивного тренера...

Он начал на одном из пляжей в Каннах. Зимой в Межеве обучает ходить на лыжах.

— Ты будешь получать от меня определенную сумму каждый месяц, как твой брат, когда он учился в Академии художеств...

— Не стоит... Сам справлюсь...

Не знаю, что он думает обо мне, о моем характере, о моей жизни. Он принадлежит к другой эпохе. Когда он, совсем еще мальчишкой, разглядывал фотографии, которые я так и не наклеил в альбом и которых накопилось в моем письменном столе два полных ящика, он часто смеялся.

> .— Это ты?

Ну конечно! В белых фланелевых брюках, пиджаке в полоску и канотье.

А это тоже я в синем мундире, в обмотках на худых ногах небрежно опираюсь на свой самолет. ~

• — Почему ты перестал летать?

— Я не знаю ни одного летчика из моей эскадрильи, который продолжал бы летать после войны. Наверное, нам это на войне надоело.

На этот раз он посмотрел на меня с некоторым уважением, но вообще ему противен мой образ жизни и он продолжает держаться вдали от меня.

В прошлом году он был управляющим на пляже в Сен-Тропе; я несколько раз видел его снимки в газетах, потому что он принадлежит к миру местных знаменитостей. Он даже открыл там ночной кабачок.

Я все хожу, хожу. И думаю. Слишком много думаю. Забываю даже смотреть на людей, а ведь я обещал себе смотреть на них. Правда, у меня создается неприятное впечатление, что большинство лиц серые, невыразительные.

Люди идут вперед, а глаза у них пустые. •

Может быть, и я кажусь таким же?

Я не сплю. Я заснул всего минут на десять и слышал, как мадам Даван направилась в кухню приготовить мне кофе.

Она входит бесшумно, ставит чашку и направляется к окну, чтобы поднять шторы. Как вчера, как несколько последних лет. Так будет и завтра, и в последующие дни. Впрочем, эта размеренность меня не угнетает. Скорее, она мне приятна. Мои дни таким образом делятся на небольшие части, которыми я привык наслаждаться.

Она подает мне чашку, улыбаясь слегка покровительственно. Подзреваю, что она смотрит на меня как на большого ребенка, которому она необходима. Кто знает, может, она и права.

27 Через минуту я сниму халат и надену пиджак.

В молодости это однообразие, неизменность окружающей обстановки приводили меня в отчаяние, и бывало, горло у меня сжималось, когда я смотрел из окна своей комнаты на спокойное течение Соны. Я ненавидел наш дом, пахнувший мастикой и вином, ненавидел загроможденный бочонками двор и работавших там людей в синих комбинезонах.

А теперь меня раздражает все неожиданное. Я не люблю, когда нарушается мой распорядок дня.

— В гостиной ваш сын,— сообщает мадам Даван.

— Который?

— Тот, что живет в Париже.

— Давно он меня ждет?

— Только что приехал. Он знает, что вы сейчас встали, и сказал, чтобы вы спокойно пили кофе.

Ее зовут Жульетта. Я говорю о мадам Даван. Мне не раз хотелось назвать ее по имени, но я не смел.

— Как он выглядит?

— Кажется, хорошо... Может быть, немного нервничает...

Я встаю; она помогает мне снять халат. А потом подает пиджак. Я зажигаю сигарету, подхожу к высокому окну и допиваю кофе. В этот час солнце начинает проникать в спальню. Пока только узкий пучок лучей падает светлым пятном на комод в стиле Людовика XVI. Вся мебель в комнате в стиле Людовика XVI; на стенах панели жемчужно-серого цвета.

Интересно, что нужно от меня Жаку, ведь он редко навещает меня без причины. Конечно, этот дом был для него чем-то вроде тюрьмы, как для меня наш дом в Маконе. Когда я начал скучать по маконскому дому? Во всяком случае, уже немолодым.

Когда я вхожу в гостиную, он стоит перед картиной Пикассо.

— Какое старье!..— бормочет он и обводит взглядом стены.— Ты по-прежнему равнодушен к современной живописи?

Он ниже Жан-Люка, хотя выше меня и своей матери, немного полноват, черты его лица и линии тела слегка расплылись.

— Пойдем ко мне в кабинет?

Неловко принимать его в гостиной. Разве он не у себя дома? Разве не провел он часть своей молодости в этой квартире?

— Здесь все по-старому,— замечает он. И, оглядев меня, добавляет:— Ты тоже не меняешься... Хорошо себя чувствуешь?

— Очень хорошо, хотя вчера мне пришлось сильно огорчиться...

— Из-за твоих дел?

— Нет. Твой брат Доналд умер. Я узнал это из письма его матери, которая с самой войны не подавала о себе вестей...

— Сколько ему было лет?

•— Сорок два года.

•— Немногом старше меня... Что с ним случилось?

— Он повесился...

Они никогда не видели друг друга. О Доналде избегали говорить, пока два других моих сына были детьми.

— Кроме того, Пэт, моя первая жена, очень больна...

Он досадливо хмурит брови. Он предпочел бы застать меня в другом настроении.

Проходит порядочно времени, прежде чем я спрашиваю!

— А ты как поживаешь?

•— Я-то в полной форме. У меня новые планы. Хотел как раз поговорить с тобой. Но пожалуй, момент сейчас неподходящий...

— Говори, не бойся...

— Да я не боюсь... Впрочем, речь пойдет, прежде всего, о самом простом и естественном... Я собираюсь жениться.

Что я могу ему сказать, если сам был женат три раза? Меня еще удивляет, что после смерти жены он так долго жил один.

— Прелестная девушка... Я тебе представлю ее, как только ты захочешь... Я не посмел ее привести, не предупредив тебя.»

— Сколько ей лет?

— Восемнадцать.

— Только на два года старше твоей дочери...

— Я не думаю, что разница в возрасте может служить препятствием. К тому же Хильда разумна не по годам, прекрасно говорит по-французски и отлично ладит с Натали.

— Она иностранка?

— Немка... Из Кёльна... Она посещает курсы при Лувре, хочет стать искусствоведом.

Я молчу. У меня с языка готовы сорваться возражения, которые ничего не стоят. Моя последняя жена была итальянка, на двадцать лет моложе меня.

Если учесть, что Натали осенью собирается поступать в Школу изящных искусств, интересы у них общие...

Да что говорить! С тех пор, как Жак открыл свою картинную галерею, там не висело ни одного полотна фигуративного направления. Экспонировались самые разнообразные предметы, в том числе надувные скульптуры из пластика и печные трубы, которые можно было вставлять одну в другую в любом порядке.

Два или три года назад ему вздумалось открыть ресторан посреди выставочного зала. Зал небольшой. Там можно было поставить только шесть столиков. Он попросил у меня денег, чтобы устроить кухню и купить оборудование. Я дал. •

— Как только дело наладится, я верну...

Дело не наладилось. К нему приходили поесть только его приятели, а они не платили. Повар, которому он задолжал, потребовал денег.

— Ты останешься на улице Жакоб?

Жак ведет холостяцкую жизнь в низких, очень темных антресолях над своей галереей. Я наперед знаю, что он сейчас скажет.

— Как раз об этом я тоже хотел поговорить с тобой...

— Ты нашел идеальное место?

Я задал этот вопрос без всякой иронии, но ему не нравится, что я угадываю его мысли.

— Откуда ты знаешь? Мама сказала?.

— А она в курсе дела?  
— Она обедала с нами в понедельник... И нашла Хильду неглупой, очень приятной... Я уверен, что тебе Хильда тоже понравится...

— Ты нашел квартиру?

— Нашел кое-что получше...

От избытка энтузиазма он даже встает. Каждый раз, когда Жак приходит ко мне изложить какой-нибудь новый план, он считает необходимым показать товар лицом, а я делаю вид, что он меня убедил.

— Не знаю, помнишь ли ты антикварный магазин на набережной Гранз-Огюстен. Длинный, темный... В его двух витринах круглый год выставлены одни и те же вещи, которые никого не соблазняют... Хозяин магазина умер в прошлом месяце... Его жена хочет продать дело и уехать к дочерям в Марсель... Если этот магазин осветить, получится замечательная галерея, помещения лучше не придумаешь... У меня будет площадь в четыре раза больше, чем сейчас на улице Жакоб, и в придачу настоящая квартира во втором этаже...

Разумеется, чего же проще! Я знаю, что последует за этим, и спрашиваю:

— Сколько?

— Точную цифру еще не могу назвать, только на прошлой неделе показал помещение одному приятелю, архитектору...

— Ну что ж, это будет мой свадебный подарок... Посылай мне счета...

— Ты шикарный парень, Бай, — горячо восклицает он и целует меня в лоб.

Любопытно. Оба мои сына называют меня Бай, а с"вою мать Жанной. Натали тоже.

• — Ты на меня не сердисься?

— За что?

— За то, что я клянчу у тебя денег... Ты должен прийти на открытие галереи... Увидишь всех знаменитостей современного искусства.

— Современного кому?

Я, конечно, шучу. Издеваюсь главным образом над самим собой.

— Как чувствует себя твоя дочь?

— Физически?

— Да, это прежде всего.

— Она неутомима. Спит меньше меня и при этом остается такой же энергичной...

— Ты ее часто видишь?

— Только случайно... И в конечном счете благодаря Хильде... Мы частенько бываем в кабачках Сен-Жермен-де-Пре, и я был порядком удивлен, когда несколько раз встретил там свою дочь... И не одну... Чаше всего в компании бородатых и волосатых молодых людей лет на десять старше ее...

— Ей ведь еще нет и шестнадцати?

— Будет через два месяца... Она только этого и ждет, чтобы сразу же бросить учебу...

Натали исключили из лицея, потом из частной школы. Ее поместили в третье учебное заведение, где она решила ничему не учиться. Два или три года назад она мечтала о карьере кинозвезды. Теперь ее интересует только живопись.

— А ты что об этом думаешь?

Жак почесал в голове.

— Что я могу думать? Поколения сменяются; они не похожи одно на другое. Когда ей было тринадцать лет и она начала мазаться и курить по пачке сигарет в день, я считал своим долгом вмешаться. Это ни к чему не привело. Напротив. Она с тех пор считает меня стариком... Время от времени она приходит посмотреть, что нового у меня в галерее. Против моих ожиданий, у нее ни на грош вкуса к современному. Она остановилась на Ван-Гоге и Гогене...

— А что твоя мать говорит по этому поводу?

— Поведение Натали ее немного пугает. Девочка иногда приходит домой в два-три часа ночи. Она прикладывает к дверям своей комнаты гостиничную карточку — бог знает, где она ее взяла, — на которой напечатано на нескольких языках: «Не беспокоить». Ее никто и не беспокоит. Она не всегда завтракает дома и не всегда посещает уроки, зато научилась подделывать подпись Жанны в своем школьном дневнике..

Должно быть, на моих губах мелькает неопределенная улыбка, В самом деле, мой сын огорчен. Моя бывшая жена тоже. А я — нет. Напротив, мне кажется, что Натали довольно близка мне и что мы отлично поняли бы друг друга, если бы она иногда приходила поверять мне свои тайны.

Она принимает меня за строгого и холодного господина. Она в восторге оттого, что ее отец женится во второй раз, потому что надеется найти подругу и сообщницу в своей мачехе.

— Я тебя задерживаю? — спрашивает Жак, глядя на свои часы. — Тебе не надо спуститься в контору?

Он знает, что я там лишь статист, но теперь, когда он получил то, что хотел, ему не терпится сообщить Хильде приятную новость.

— Как мне быть с деньгами?

— Будешь направлять счета к кассиру... Я сейчас его предупрежу... Наличные на текущие расходы будешь брать у него же.

Он поражен, что я не называю максимальной суммы. Зачем? Чтобы он стал придумывать предлоги, залезать в долги, плутовать?

Настанет день, когда все будет принадлежать им. Только боюсь, они будут разочарованы, они считают, что денег у меня больше, чем на самом деле.

На что Жак употребит свою долю наследства? Разумеется, у него будут, грандиозные планы, и через несколько лет он, конечно, окажется без гроша.

Ему поможет мать. А может быть, брат? Надо сказать, что Жан-Люк, хоть и отчаянный парень, не бросается очертя голову в рискованные предприятия.

Его пляж и ресторан процветают. Я не удивился бы, если бы на свою долю наследства он построил отель или несколько бунгалов на каком-нибудь острове.

Ему нужно движение, свежий воздух, солнце. Он по научному методу развивал свою мускулатуру и держит себя в форме.

А Натали? Она выйдет замуж совсем молоденькой и ненадолго. Захочет ли она попробовать еще раз или будет наслаждаться свободой?

Я хотел бы поговорить с ней на днях, но не думаю, что мне удастся завоевать ее доверие. Почему мне кажется, что из всех членов моей семьи, из всего этого мирка, с которым меня связывают более или менее крепкие нити, она больше других похожа на меня?

С тою только разницей, что воля ее направлена на отрицание. Она отказывается, а не принимает. Отказывается учиться. Отказывается от той жизни, которую ей предлагают. Отказывается уважать различные табу.

Она говорит «нет» своей бабушке, так же, как сказала бы мне, она не скрыла от меня, что терпеть не может мою квартиру.

Она идет своей дорогой, прикидываясь циничной, но я убежден, что в душе у нее затаился страх.

Она еще совсем юная, но жизнь уже пугает ее. Из страха прожить жизнь тускло она рискует погрузиться на дно и делает это как будто намеренно.

— До скорого, Бай... Позвони, когда захочешь, чтобы я привел к тебе Хильду...

— В любой день на будущей неделе...

— Можно позвонить тебе днем, после твоего отдыха?

— Ты же знаешь, что можно...

Он подходит ко мне, довольно неловко целует меня в обе щеки, шепчет почти на ухо:

— Ты молодчина...— И добавляет после некоторого колебания:— Ты знаешь, я ведь очень тебя люблю...

Такие слова редко произносят в нашей семье. Я очень удивлен, и, когда смотрю ему вслед, у меня сжимается сердце.

Да, все они бежали из дома, как только смогли. Каждый пошел своим путем, совершенно для меня неожиданным.

Жак стал торговать картинами и женится во второй раз на молодой немке, ровеснице своей дочери.

Жанна, прожив со мной немало лет, испугалась, что потеряет индивидуальность, и, чтобы остаться собой, предпочла развестись.

Я на нее не сержусь. Не сержусь ни на кого из них.

Должно быть, и для -моего отца это был удар, когда в семнадцать лет я объявил, что перебираюсь в Париж. Он еще надеялся, что я буду приезжать в Макон на каникулы. Мать плакала. До самой своей смерти — а умерла она в шестьдесят восемь лет, в

1931 году, — она каждую неделю писала мне письма на четырех страницах, рассказывала о всех новостях в доме и у соседей, даже о кошках и собаках.

Я отвечал ей на одно письмо из трех, и мои письма были гораздо более короткие и нескладные, потому что я не умел заполнить их тем, что могло бы ее интересовать. Я уже жил иной жизнью.

Вспоминаю, как они были смущены, когда я впервые привел к ним Пэт, которая ни слова не говорила по-французски и только улыбалась, как девушка с обложки журнала.

Вчера мне все представлялось в драматическом свете. Письмо Пэт заставило вспомнить всю мою жизнь и заново пересмотреть многое.

Сегодня я стремился вновь обрести равновесие, столь необходимое, и уже начал обретать его. Визит Жака парадоксальным образом помог мне, как помогло и То, что он сказал о своей дочери.

Их судьба мне не безразлична. Напротив. В глубине души я хотел бы стать своего рода патриархом, вокруг которого собиралась бы вся семья.

Разве не об этом так или иначе мечтает каждый мужчина? Разве не об этом мечтал мой отец? Только для него эта мечта почти осуществилась — ведь я один сбежал из семьи.

У меня все произошло иначе. Пэт ушла первая. Жанна Лоран держалась долго, может быть не хотела слишком рано лишать меня-детей.

Несколько лет у нас была настоящая семья, мы собирались за обеденным столом в полдень и вечером. На лето уезжали в Довиль, жили на вилле с парком, дети играли, купались или бегали по пляжу.

Я много работал. И много развлекался, если можно назвать развлечением утехи, которые находит для себя мужчина.

Как я уже говорил, у меня были лошади. У меня была яхта в Каннах, но не в то время, когда я жил вместе с семьей, а когда женился в третий раз, на графине Пассарелли, принадлежащей к одной из самых старинных флорентийских семей.

Когда я женился на графине, мне было пятьдесят восемь лет, ей — тридцать два. Я был ее третьим мужем, вторым был грек, богатый судовладелец.

Она говорила, вернее, щебетала на четырех или пяти языках, знала все роскошные отели мира, кабаре Нью-Йорка и Бермудских островов, Бейрута и Токио.

Не знаю, почему я на ней женился. Быть может, хотел испытать судьбу, бросить ей вызов? На этот раз мне пришлось приспособиться к жене, вести ее образ жизни.

Впоследствии, когда мы развелись, я продал яхту и купил моторную лодку. Я не стал продавать виллу в Довиле, полагая, что она когда-нибудь пригодится моим внукам.

Однако маловероятно, чтобы мои американские внуки пересе-

лились в Европу. Что до Натали, то я ее, совсем не представляю в Дов'иле, да и Жанна Лоран не любила там бывать.

Я спускаюсь во второй этаж и обращаюсь к кассиру.

— В ближайшее время вы начнете получать счета от моего сына Жака и будьте любезны оплачивать их, даже если суммы покажутся вам значительными. Возможно, кроме того, ему понадобятся наличные...

— Хорошо, мосье Франсуа...

Это Пажо. Славный малый шестидесяти четырех лет, через год он уйдет на пенсию и будет скучать без нашего банка.

Сейчас позвоню Кандилю. Если он свободен сегодня, приглашу его ужинать, и мы проведем вечер в приятной беседе.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Кандиль у меня. Вечер проходит, как все вечера, которые мы проводим вместе, и все-таки, провожая его до лифта, я чувствую разочарование, будто мои надежды не оправдались. Я не мог бы сказать почему.

Когда я возвращаюсь в спальню, мне приятно видеть мадам Даван, которая ждет меня, чтобы уложить в постель. Да, меня укладывают в постель, как ребенка. Это превратилось в ритуал. Понимает ли она, что в эти минуты особенно остро ощущается одиночество? И не чувствует ли она себя одинокой, когда возвращается в свою комнату?

На ужин после некоторых колебаний я велел подать икры. Боялся подавить доктора показным великолепием. Икра стала символом роскоши, богатства, так же как трюфели, шампанское, как прежде были цыплята в скромных семьях.

Впрочем, к Кандилю это не относится. Он любит покушать, и я всегда стараюсь составить меню ему по вкусу.

Он носит квадратную бороду, рыжеватую, короткую и жесткую, как шерсть вандейской таксы. Для него борода не украшение, а способ спрятать свой стесанный подбородок.

Волосы у него тоже густые, коротко остриженные, а кожа пористая, как у крупных апельсинов.

У него всегда был животик. Теперь же, когда ему шестьдесят пять, он начинает полнеть еще больше.

Обеденный стол слишком велик для двоих, столовая тоже. Мы словно затерялись за этой огромной камчатой скатертью, а когда я обедаю один, я, должно быть, кажусь еще более затерянным.

После икры подают нормандскую камбалу; она прекрасно удаётся моему повару, и доктор очень любит это блюдо. Приятно смотреть, как он ест, смакует вино, вытирает губы.

Мяса не подают. Трюфели под золой, а потом салат и бланманже.

Он блаженствует, наблюдая за мной своими почти красными

глазами, которые только кажутся наивными, а на самом деле весьма проницательны. От них ничто не ускользает.

— У вас что-нибудь не в порядке?

Я догадываюсь: ему вдруг стало неловко оттого, что он так наслаждался ужином, меню которого, он это знает, составлено специально для него.

— Вчера у меня был тяжелый день. Теперь я понемногу отхожу. Неприятные новости из Соединенных Штатов.

— От вашей первой жены?.

— Она в больнице, рак матки, и врачи не решаются ее оперировать...

Он спрашивает, будто о чем-то само собой разумеющемся:

— Ей хочется жить?

— « Не знаю. Мой поверенный в Нью-Йорке навещал ее. Она в палате на двадцать коек, там одни старухи, которые не встают. Но она отказалась перейти в отдельную палату и не захотела, чтобы я нанял ей сиделку.

— Я ее понимаю...

• — Если ей сделают операцию, это даст ей год или два отсрочки...

— А может быть, и гораздо больше...

По некоторым вопросам медицины взгляды Кандиля не совпадают с общепринятыми. Меня всегда поражает, что пациенты этого врача, с плебейской внешностью, неряшливо и мешковато одетого, живут в районе авеню Оперы и улицы Риволи.

— Вы слышали об одном классическом случае операции по поводу рака? Это описано во многих учебниках и произошло как раз в Соединенных Штатах. Не помню уж в какой больнице, хирург вскрыл живот пациента, больного раком, и увидел такую развитую и огромную опухоль, что отказался удалять ее и поспешил зашить разрез. Больше он об этом не думал, уверенный, что пациент умер несколько дней спустя. Прошло десять или пятнадцать лет, хирург готовится к операции больного аппендицитом и при виде шрама у него на животе начинает что-то припоминать. Ему кажется, что это больной, у которого был рак, но он не находит и следа опухоли. Закончив операцию, он наводит справки и выясняет, что это тот самый больной. Должно быть, человек доверчивый. Ему тогда сказали, что операция его излечит, И после операции он выздоровел.

Я улыбаюсь не очень весело, история отнюдь меня не ободряет. Естественно, в своем возрасте я ожидаю более или менее тяжелых болезней. Едва ли не прислушиваюсь к своему телу, хотя понимаю, что не стоит этого делать. Рассказ Кандиля лишний раз служит тому подтверждением.

А он продолжает, работая вилок:

— Очень часто наши болезни происходят от состояния нашего духа, от нашего морального состояния. Мы приводим себя в готовность заболеть, как бы расчищаем почву для болезни...

На время мы забыли о Пэт. Но позже Кандиль снова заговорил о ней.

— Она права, что хочет остаться в общей палате. Это поддерживает ее интерес к жизни. Когда ее ничто не будет интересовать...

Я чуть не спросил: — «А меня?» — Интересует ли меня что-нибудь? Я не пытаюсь больше нарушить рутину, которую сам же создал.

И все же я обычно наслаждаюсь минутами дня, сменяющими друг друга, как Кандиль наслаждается ужином. Меня чарует пятно света на полированной мебели, и я раз десять за день подхожу к окну, чтобы полюбоваться Вандомской площадью в дождь или в ясную погоду.

— Мой старший сын умер.

— Который жил в Америке?

— Да. Повесился.

По этому поводу Кандиль тоже может рассказать какую-нибудь историю.

— Он оставил письмо?

— Нет.

•— У него была семья?

— Жена и трое детей; старший работал с ним в гараже...

— Странно...

— Почему? Его дела шли плохо...

— А все-таки странно... Мне вспомнилась статья, которую я прочел в бостонском медицинском журнале... Во Франции самоубийцы чаще всего вешаются, особенно в деревне, где довольно трудно найти оружие, разве что охотничьи ружья... К тому же крестьяне не пользуются снотворным... А поэтому идут в сарай, привязывают веревку к балке...

Я хорошо к нему отношусь, но предпочел бы, чтобы он перестал говорить на эту тему. Он видит смерть каждый день и привык к этому зрелищу. Разумеется, он с нег борется, и, если умирает кто-нибудь из его больных, он огорчается. Я не сказал бы, что он переживает это как личную неудачу, но все же переживает. С годами он все меньше верит в медицину.

Он часто говорит:

— Все, что мы можем сделать,— это помочь больному выздороветь.

А сейчас рассуждает о самоубийцах:

— В Соединенных Штатах положение другое. Почти у каждого есть огнестрельное оружие. У некоторых даже целая коллекция. С другой стороны, повешение, которым прежде карали убийц и конокрадов, и теперь еще считается позорной смертью. Автор статьи, психолог, фамилию которого я забыл, делает из этого вывод, по-моему сомнительный, что люди, кончающие самоубийством путем повешения, страдают комплексом виновности. Они выбирают этот способ самоубийства, чтобы наказать себя за действительную или воображаемую вину.

• — Доналд, наверное, наказал себя за то, что плохо управлял своим предприятием и довел свою семью до нищеты...

Мы переходим в мой кабинет: там уютнее, чем в столовой. Предлагаю Кандилью сигару и закуриваю сам. Я пригубил также рюмку арманьяка, хотя давно уже не пью.

Прежде я пил. Редко допьяна, но регулярно.

Но и это ушло так же, как и все остальное. Как Женщины и дети, которые по очереди покидали меня.

А началось как раз со спиртного: годам к шестидесяти я перестал его переносить.

— Пейте не больше рюмки за едой,— посоветовал мне тогда Кандиль.

Но я не мог довольствоваться одной рюмкой и предпочел совсем отказаться от вина. Позже я сократил вполтину дневную норму сигарет.

Однажды, сам того не подозревая, я сыграл свою последнюю партию в гольф. Я вывихнул ногу и не играл несколько недель, а потом заметил, что при игре у меня тотчас начинается одышка.

Потом перестал заниматься верховой ездой...

Потом водными лыжами... Я одним из первых в Каннах начал заниматься этим спортом и перестал лишь шесть или семь лет назад.

Жизнь обедняется. Это неизбежно, но каждый раз, как из нее вычеркивается какое-то слово, каждый раз, как мне что-то запрещается, становится немного грустно.

Я ничем не болен. Кандиль утверждает, что у меня все в полном порядке и что с медицинской точки зрения я лет на десять моложе своего возраста.

Его жизнь была гораздо тяжелее моей. Он женился всего один раз, довольно поздно, лет тридцати четырех — тридцати пяти. Детей у него нет.

И уже лет пятнадцать его жена находится в психиатрической клинике километрах в тридцати от Парижа. Он навещает ее каждое воскресенье, а она обычно встречает его враждебно, так как убеждена, что он упрятал ее в клинику, чтобы жить с другой женщиной.

Я был у него в квартире, немного старомодной, но комфортабельной. Он сохранил вкус деревенского жителя к тяжелой, темной, массивной мебели. Хозяйство ведет служанка, почти одного с ним возраста; она же готовит еду.

Принимать больных ему помогает медицинская сестра, которая исполняет также обязанности секретарши. Когда мне нужно сделать укол по поводу какого-нибудь пустякового недомогания, Кандиль посылает ее ко мне. Ее зовут Оидиль, это высокая рыжая кобыла, зубы у нее выступают вперед, зато глаза веселые и красивые.

В каких отношениях с ней Кандиль? Подозреваю, что в близких, и в таком случае был бы рад и за него и за нее.

— Да! Я не сказал вам, что мой сын Жак женится...

— Тот, у которого картинная галерея?  
— Да... Он сегодня приходил сообщить мне...  
— У него ведь есть дочь, не так ли?  
— Она совсем немного моложе той немки, на которой женится Жак... А Натали, его дочери, нет и шестнадцати, она поступает в Школу изящных искусств...

Кандиль улыбается, словно мысль об этом его забавляет.

— А пока она мажется, как манекенщица, и ходит в кабачки Сен-Жермен-де-Пре с бородатыми и длинноволосыми молодцами...

Улыбка у него заразительная. Я тоже улыбаюсь, а он спрашивает:

— Как вы на это смотрите?

— Лет тридцать или сорок назад я был бы шокирован. Говоря откровенно, хоть я и считал себя тогда свободомыслящим, у меня хватало предрассудков... Например, я сомневался, жениться ли мне на Пэт, имея в виду ее профессию... Времена меняются... Мой сын в тридцать восемь лет женится на восемнадцатилетней девчонке... Я в пятьдесят восемь женился на тридцатидвухлетней итальянке, которая уже в третий раз вступала в брак...

— Но и вы тоже, ло-моему?

— Да, и я тоже...

— Как она живет?

•— Я иногда вижу ее имя в газетах, особенно в иностранных... Она замужем за одним голливудским актером, довольно известным... Недавно он снимался в Испании, и газеты писали о связи моей бывшей жены с каким-то матадором...

Она, должно быть, тоже состарилась. Теперь ей почти пятьдесят, и я представляю ее себе с тонкими морщинками у глаз. Когда мы расставались, они едва наметились.

Хочет ли она по-прежнему во что бы то ни стало сохранить молодость? Проводит ли почти все свое время в институтах красоты? Когда она была моей женой и мы обедали где-нибудь в гостях, она готовилась к этому, неподвижно лежа два часа в постели с маской на лице, бог знает из чего приготовленной.

Мы придаем большое значение красоте. Она почти всегда определяет наш выбор, А надолго ли она сохраняется? И сколько лет нам остается жить потом?

Если бы можно было начать сначала... Что бы я тогда стал делать? Разумеется, то же самое. Прожил бы такую же жизнь и пришел бы к тому же, к чему пришел сейчас.

Я не жалею. Смотрю на Кандиля, который наслаждается сигарой и думает, как бы не зазвонил телефон. Уходя из дому, он всегда говорит, где его можно будет найти. Вдруг он понадобится кому-нибудь из своих пациентов.

Ложась в постель, он никогда не бывает уверен, что проспит в ней до утра, а если идет ко мне обедать, берет с собой медицинский чемоданчик на случай какой-нибудь срочной надобности.

Мы довольно долго говорим о молодежи и приходим к одному

мнению. По сути, теперешняя молодежь мало отличается от молодежи нашего времени: те же инстинкты, те же надежды, то же отвращение к некоторым вещам. Разница в том, что нам не позволяли это выражать.

И честное слово, мы скрытничали. Мне приходилось плутовать, как и всем в то время. Мой отец, конечно, тоже плутовал. Два раза в год он объезжал своих поставщиков и каждый раз отсутствовал недели две. Я убежден, что у него были приключения. Может быть, не очень блестящие, но все же приключения.

• Его правнучка, хотя ей не исполнилось еще и шестнадцати, открыто посещает ночные кабаре.

— Вы давно ее видели?

— Месяца два назад. Я- делал покупки на улице Сент-Оноре, и мы столкнулись нос к носу...

— Мне показалось, она довольна жизнью.

Он умолкает, словно раздумывает, взвешивая все «за» и «против». Его молчание всегда тревожит меня, в особенности когда он меня выслушивает. Он опытнее и знает людей лучше, чем я.

— Она веселая?

За время своей врачебной практики он, должно быть, наблюдал тысячи случаев, которые служат ему материалом для сопоставлений.

Основываясь на своем банковском опыте и не слишком рискуя ошибиться, я могу заключить, платежеспособен человек или нет и каковы у него шансы достичь успеха.

Кандиль же видит людей обнаженными, когда болезнь обезоруживает их и они не могут хитрить.

Он, например, вдруг спрашивает меня:

— Вы никогда не скучаете?

Эта мысль пришла ему в голову не сейчас. Он, должно быть, наблюдал за мной в течение ужина. Мы говорили о том, о Сем, а мысль не покидала его.

— Смотри что называть скукой. Мои сыновья и внучка, например, сочили бы мою жизнь невыносимо серой...

— А вы?

Я чувствую себя неловко. Этот вопрос я всегда избегал себе задавать. Он смотрит на меня своими красноватыми глазами, в которых сохранилось что-то детское.

— Вы не ощущаете пустоты?

— Случается, как,~я думаю, и всем...

— По вечерам ходите куда-нибудь?

— Очень редко...

:— Почему?

— А куда мне ходить? Театр меня теперь не развлекает. Кино я никогда не любил. Что касается званых обедов и приемов, то их я терпеть не могу. Пожимать руки, слушать и повторять одни и те же фразы...

— А что вы делаете дома?

— Иногда смотрю телевизор. Мне все" равно, .какая програм-

ма. Лишь бы что-нибудь показывали. Думаешь, что знаешь мир, потому что много путешествовал, и все же постоянно открываешь что-то новое... Даже лица... Их выражение...

— Вы смотрите телевизор один?

— Да. Или читаю. Меня поражает, что, дожив до старости, я так мало знаю. Я часто захожу в книжный магазин на улице Сент-Оноре и при виде книг, заполняющих полки от пола до потолка, сознаю свое ничтожество. То же самое я испытываю в магазине на авеню Оперы, где продаются английские и американские издания... В общем, мы уходим из жизни, узнав о ней совсем немного...

— Какие книги вы читаете?

— Всякие... И обо всем... Меня все интересует... Например, новинки техники, хотя у меня не хватает необходимых знаний, чтобы все понять... Мемуары раскрывают передо мной такие черты знаменитых людей, о которых я и не подозревал...

— В котором часу вы ложитесь?

— Обычно около одиннадцати...

— Спите хорошо?

— Довольно долго не засыпаю. А потом уж сплю до утра.

Почему вы спрашиваете?

— Да так просто...

Он обводит взглядом комнату, словно проникая сквозь стены, обитые кожей, пытается определить размеры моей квартиры. У него, кроме врачебного кабинета, только четыре комнаты, все вместе не больше моей гостиной.

Вероятно, я кажусь ему совсем маленьким, худеньким, затерянным в этом огромном пространстве.

— Вы теперь не путешествуете?

— Я ненавижу туристов. Как только человек попадет за границу, он становится нахальным и ведет себя как варвар... — Помолчав, я добавляю: — Вы находите, что я плохо выгляжу?

— Мне не нравится ваша меланхолия...

Кажется, я покраснел, и он это заметил. Все же он добавляет:

— Меланхолия и покорность судьбе...

— Я не чувствую в себе никакой покорности судьбе, напротив, я наслаждаюсь каждой минутой...

Я знаю, что он думает, как он понимает эти слова. Думает, что я наслаждаюсь «умышленно», прикладывая все усилия, чтобы не распускаться. Двадцать лет назад я не подходил десять раз за день к окну, чтобы полюбоваться Вандомской площадью.

И не обходил комнаты, чтобы насладиться своими картинами. И не поглаживал мимоходом женскую головку, изваянную Роденом...

Все это было для меня обстановкой, в которой я жил, и только.

Жизнь была во мне, и она не сводилась к одному желанию оставить на земле хоть что-то после себя.

Я не сержусь на Кандиля. Он говорит неспроста. Позже я всегда разгадываю смысл его слов и его поведения. Хотя он мой

друг, он прежде всего врач. Вот и сейчас он ушел, подхватив свой чемоданчик, который ему так много пришлось таскать, что правое плечо у Кандиля стало ниже левого.

Я тушу свет во всех комнатах, это тоже стало моей манерой. Мадам Даван слышала, как я закрыл входную дверь, и ждет меня в спальне. Она тоже наблюдает за мной, но иными, нежели Кандиль, глазами.

— Вы расстроены? — спрашивает она, пока я снимаю пиджак, потом галстук.

— Почему вы так думаете?

— Обычно, когда доктор проводит с вами вечер, у вас бодрое настроение...

Я это знаю., Но сегодня он заставил меня задуматься. Кажется, он хочет, чтобы я понял, что нужно как-то изменить свой образ жизни.

А как? Не знаю. Он, вероятно, тоже. Что во мне тревожит его?

— Он боится, что я скучаю... — наконец говорю я.

— А вы не скучаете?

Может быть, я ошибаюсь. Но мне кажется, что я улавливаю какое-то волнение в ее голосе. Она тоже одинока. По-моему, у нее нет родственников. Никто ее не навещает. Она имеет право на один выходной день в неделю, и по вечерам она свободна, но почти всегда сидит дома.

— По-моему, нет...

Но это не так просто. Потому-то Кандиль и хотел заставить меня поразмыслить.

— А вы?

Она отвечает с неожиданной горячностью:

— Никогда!

Субботу, воскресенье и понедельник я пролежал в постели с гриппом. Я не стал вызывать Кандиля, я и так знаю, что он дает мне в таких случаях. Вот уже лет пятнадцать я болею гриппом один или два раза в год и, кажется, таким образом подтверждаю теорию доктора. Разумеется, я не хочу сказать, что намеренно прячусь от жизни или что для меня болезнь — это способ замкнуться в себе.

И все-таки я заметил, что недомогания у меня почти всегда начинаются в момент усталости, либо когда я падаю духом. Тем не менее у меня температура, белый налет на языке, глаза слезятся, воспаляется горло.

Мадам Даван попросила разрешения посидеть утром и днем у меня в спальне, чтобы быть рядом, если мне что-нибудь понадобится.

— Может быть, лучше я буду в кабинете?..

— Оставайтесь здесь...

— Ничего, если я почитаю?

Пусть читает, лишь бы не шила. Не люблю, когда женщины вяжут или шьют. С очень давних пор, с самого детства, когда моя

мать, тетки, соседки и еще какие-то старушки целыми часами вязали, сидя на скамейке на площади или в сквере.

Я тоже читаю и, конечно, то и дело задремываю.

• В понедельник я встаю, но не выхожу из спальни. Во вторник завтракаю в столовой и, когда Жанна спрашивает по телефону, можно ли ей прийти ко мне обедать, отвечаю утвердительно.

Перед ее приходом я довольно долго смотрюсь в зеркало. Не хотелось бы показываться ей с чересчур помятым лицом. Глаза • у меня еще немного воспаленные, но в общем вид неплохой.

Она приходит, как всегда, точно в половине восьмого. Эта женщина не заставляет себя ждать, она прекрасно организует свое время и никогда не торопится.

— Как поживаешь? — говорю я, протягивая ей руку.

С тех пор как мы развелись, при встрече мы пожимаем друг другу руки. Вначале нам это казалось странным. Ведь столько лет мы, здороваясь, целовались.

В сущности, это проходит бесследно. Мне с трудом верится, что мы спали в одной постели и что близость с ней доставляла мне наслаждение.

— А ты?

— Я только что болел гриппом. Ты не боишься заразиться?

— Ты ведь знаешь, у меня железное здоровье.

Для своих лет она выглядит хорошо. Она маленькая, тоненькая, и можно было предполагать, что к старости она высохнет. Однако, напротив, она вся стала как-то мягкой, хотя и не расплылась. А глаза, очень умные, приобрели серьезность: словно она все понимает и все прощает.

• Интересно, что она испытывает, когда входит как гостя в дом, где прежде была хозяйкой? Ее комната осталась нетронутой. Жанна не захотела увезти мебель из своей спальни и будуара, объяснив, что она не подойдет для ее новой квартиры.

И та, кого я называю своей итальянской графиней, ничего не успела изменить, потому что мы постоянно путешествовали.

Я никогда не был в квартире, где Жанна живет теперь с Натали. Она меня не приглашала, а я не напрашивался.

Я знаю этот дом, очень современный, построенный на месте двух трехэтажных домов, немного не доходя до перекрестка Монпарнас. Жанна живет на самом верху, откуда, вероятно, открывается очень красивый вид.

— Ты больше не получаешь известий от Пэт? Думаешь, у нее есть шансы выкарабкаться?

— Не знаю... \*

Она смотрит на меня вопросительно. Я уверен, что с тех самых пор, как мы познакомились, она пытается угадать, законченный ли я эгоист, или просто не умею выражать свои чувства.

По мнению Жанны, я слишком спокойно говорю о Пэт и о смерти моего сына.

Тем временем я przygotowляю бокал сухого мартини для нее, а себе наливаю полрюмки портвейна.

— За твое здоровье...

— И за твое...

Мы переходим из гостиной в студию в ожидании, пока най доложат, что обед подан. Не люблю слова «студия», оно напоминает мне объявление в газетах. Однако не могу же я называть эту комнату будуаром? «Маленькая гостиная» тоже смешно.

— Ты сделал шикарный подарок Жаку... Когда он пришел рассказать мне об этом, он был вне себя от радости... Он-то, бедный, думал, что его женитьба на такой молоденькой девушке тебе не понравится...

— У меня нет причин...

— Я ему так и сказала... Сейчас он составляет планы со своим архитектором, но я думаю, он женится и переедет раньше, чем все будет готово... Я осмотрела магазин и квартиру во втором этаже... И в самом деле хорошо...

Она украдкой наблюдает за мной. Она всегда это делала. Все время, пока я жил с ней, меня не оставляло ощущение, что на меня постоянно направлен чей-то оценивающий взгляд.

И сейчас это продолжается. В каждое свое посещение она, наверное, находит меня все более постаревшим, все более вялым. А я призываю на помощь все свои силы. Смешно, ведь я же знаю, что мне ее не обмануть.

— Ты не скучаешь?

— Нет.

— Не жалеешь, что перестал управлять банком?

— Нет.

— Ты там по-прежнему бываешь каждое утро?

— И днем тоже...

Я не хочу, чтобы меня жалели, но чувствую, что она готова меня пожалеть. Она знает квартиру, в которой я живу, и, должно быть, в анфиладе этих огромных комнат я кажусь ей еще более худеньким и невзрачным.

— Ты видела эту Хильду? — спрашиваю я.

— Да, он нас-познакомил. Мы вместе обедали у Липпа,

Со мной ее еще не познакомили. Я увижу ее последним. Я не принадлежу к их клану.

Это не совсем точное слово, но я не нахожу другого. Между ними существует что-то вроде сообщничества; поэтому они могут обсуждать друг с другом вопросы, которых не затронули бы, в моем присутствии.

Так было всегда. Жан-Люк, например, навещает свою мать каждый раз, как бывает в Париже, а ко мне заходит очень редко. Я уверен, что они хорошо ко мне относятся. Они даже в известной мере восхищаются мною, тем, чего я достиг со времени Макона. И все же они не хотели бы походить на меня и ставят мне в вину условия, в которых я их воспитал.

Это трудно объяснить. Я не сказал бы, что они циничны, что от меня им нужны только деньги. Это было бы неверно. Но почему-

то всегда получается так, что они приходят ко мне, когда я им нужен.

Как они говорят обо мне?

— Этот бедный старина Оаа\*..

Я для них человек другой эпохи, живущий в обстановке другой эпохи...

— Должно быть, он ведет не очень веселую жизнь...

— Зато он прожил достаточно, ни в чем себе не отказывая, не так ли?

Так, я ни в чем себе не отказывал,

— Натали тебе не звонила?

— Она должна была звонить?

— Она мне вдруг сказала, что хочет повидать теб%на этих днях, и я ей посоветовала сначала позвонить...

— Почему?

— Без звонка она может прийти не вовремя.

— Что значит «не вовремя»?

— А вдруг у тебя кто-нибудь будет?

— Ты думаешь, женщина?

— Хотя бы...

— Здесь я женщин не принимаю...

Она как будто удивилась, потом приняла лукавый вид.

— Значит, мадам Дэван...

Я краснею. Я никогда не прикасался к мадам Давая, и Жанна ее почти не знает — до нашего развода ее в доме не было. Лишь после того как от меня ушла Нора и я остался один, я начал искать горничную.

— Ты ошибаешься.

г- Тогда как же ты устраиваешься?

Это ее забавляет. Она всегда любила задавать нескромные вопросы, даже нашим друзьям, которые очень смущались.

— Я хожу к мадам Бланш.

— Кто это мадам Бланш?

— Очень приличная седовласая дама. Она живет в особняке на улице Лонгшан. Туда не всякого пускают. Надо, как в сказке, показать белую лапку. И лучше предупредить о своем приходе за несколько часов...

— Понимаю...

•— Она знает много молодых женщин...

Я не решаюсь спросить у нее: — «А ты?»

Я не могу быть таким жестоким, как она, хотя и сержусь на нее за то, что она заговорила о мадам Даван.

— Не знаю, что тебе хочет сообщить Натали. От нее можно ожидать всяких сюрпризов...

— Жак мне рассказывал о ней... О том, что она мажется... Курит... О ее косматых друзьях, с которыми она бегает по кабачкам Сен-Жермен-де-Пре...

— • Я предостерегала ее... Пыталась удержать... Если так пойдет дальше, она быстро измотается...

Мы садимся за стол. Я велю подать сухое шампанское, потому что Жанна всегда предпочитала обедать с этим вином. Она и в самом деле его любит. Легкий суп. Полголубя. Много салата и никакого десерта.

— О чем я говорила?.. Ах, да... Не понимаю, как у нее нервы выдерживают... Я ведь почти все вечера провожу дома... Очень редко выхожу после обеда... Она бродит вокруг меня, набирается смелости и в конце концов спрашивает небрежным тоном: «Ты не будешь смотреть телевизор?» — «Нет...» — «Ты ничего не имеешь против, если я выйду на часок?.. Мне не хочется оставлять тебя одну, но...» — «На часок?» — «Может, чуть больше...» — «На забудь ключ...» Я ведь знаю, что она вернется не раньше часа или двух ночи.

Жанна закуривает сигарету, и, когда она вытягивает губы, я замечая, что больше всего у нее постарел рот. С обеих сторон залегли довольно глубокие морщины, будто челюсть немного опустилась.

— Иногда я веду ее обедать в ресторан, хотя знаю, что со мной ей скучно. И все-таки в ней сохранилось какое-то простодушие. «Ты не знаешь, давно Жак и Хильда спят вместе?» — спросила она меня на днях. «Я вообще не знала об этом». — «Даже не подозревала?» — «Просто не ставила перед собой этого вопроса. А ты у кого спросила? У -отца?» — «У Хильды... Потрясающая девушка... Жак мог бы выбрать женщину своего возраста, и я бы ее возненавидела...» Она называет своего отца Жаком, а я остаюсь для нее Жанной. (Только меня называют БасШу. Наверное потому, что не смеют сказать «дедушка».) «А он взял почти мою ровесницу, и мы сможем стать приятельницами... Мы уже подружались...» — «Надеюсь, ты не очень им надоедаешь?» — «Нисколько... Если бы я надоедала, Хильда сказала бы мне... Она мне все говорит... И я ей тоже... Она встретила с Жаком четыре месяца тому назад и три дня спустя уже спала с ним... Он не был первым... До него у нее был гитарист, англичанин...» Вот такая у нас внучка...

Она посмотрела на меня с удивлением, потому что я слушал ее спокойно, слегка улыбаясь.

— Тебя это не тревожит?

— А почему я должен тревожиться?

— Тебе все равно, если с ней что-нибудь случится?

— Нет. Но только я понял, что судьбу человека нельзя изменить...

— Ты же изменил мою судьбу...

— Нисколько... Ты жила здесь, у тебя было двое детей... Но ты осталась верна избранному пути и сегодня достигла того, чего хотела достичь: поста главного редактора...

— Это упрек?

— Нет. Ни ты, ни я не могли повлиять на Жан-Люка. Вернее, мы влияли на него отрицательно. Наш образ жизни так ему опротивел, что он записался в десантные войска.

Она удивлена моими словами, но еще больше ее поражает мой легкомысленный тон. И я совсем не притворяюсь. Мне и вправду вдруг стало легко.

Я смотрю на Жанну и впервые в жизни чувствую себя моложе ее. И свободнее от условностей.

— Он всегда любил спорт, свежий воздух...— пытается она возражать.

— Пусть будет по-твоему. Но разве Жак всегда любил бегу? Почему, как только у него появилась возможность, он окунулся в бегу Сен-Жермен-де-Пре?

Она замолкает, словно подобные мысли никогда не приходили ей в голову. Я чувствую, что поставил ее в тупик, хотя она не из тех, кто быстро теряется.

— Теперь пришла очередь Натали. Она начинает раньше других — может быть, потому, что это маленькая женщина, а может быть, просто дорожка проторена...

Жанна натянуто смеется.

— А я-то ожидала упреков!

— В чем?

— В том, что я предоставила ей слишком большую свободу... Я улыбаюсь Жанне.

— Ты странный человек, Франсуа... :

— Годы, в конце концов, кое-чему меня научили...

•— Меня тоже, но я начинаю думать, что осталась более старомодной, чем ты... Тебя не тревожит, что вскоре она станет чаще бывать на набережной Гранз-Огюстен, чем у меня?

— Это продлится недолго.

— Почему?

— Потому что Жаку и его жене это быстро надоест... В особенности жене... У нее впервые будет собственный дом и мужчина, принадлежащий только ей, и она не захочет ни с кем этого делить...

Так ли уж я в этом уверен?

Когда Жан-Люк приезжает в Париж, он останавливается у брата, и несколько раз в году Жак бывает в Сен-Тропезе.

— Это не похоже на то, о чем мне рассказывала Натали.

— А что она тебе рассказывала?

— «Знаешь, Жанна, у нас настоящая «шайка», и Жан-Люк тоже в ней участвует. На каникулы мы поедим в Сен-Тропез. А на рождество, может быть, в Межёв...»

Мне немного больно слышать это. Совсем немного. А моей бывшей жене?

Все-таки она принимает в их жизни какое-то участие. Они посвящают ее в свои планы. Не приглашают, правда, вступить в «шайку», как выражается Натали, но держат в курсе.

Набравшись самых различных идей, они создали себе мировоззрение, которое ничего общего не имеет с нашим. В своем кругу они не церемонятся и думают лишь о том, чтобы доставить себе удовольствие, хотя бы мимолетное.

— Я не решаюсь сказать, что они неправы. В противоположность Жаку, я их не осуждаю. Я всегда старался никого не осуждать,

— Может быть, ты хочешь лечь и я тебе мешаю?

— Нет...

— Доналд, кажется, оставил вдову и троих детей?

— Да...

— Надеюсь, ты им помог?

— Разумеется, я сделал все необходимое...

— Они, конечно, носят твою фамилию?

— А какую же им носить? Они мои внуки, такие же, как Натали и как те, которые еще, наверное, родятся...

Я чувствую, в ней какое-то напряжение. Жанна никогда не ревновала меня к женам, которые были одна до нее, другая после. Не ревновала и к моим недолгим увлечениям.

Но я мог бы поклясться, что она совсем не так спокойна, когда дело касается детей. Ведь это ее дети. И она, очевидно, не очень довольна появлением трех американских претендентов, которые в один прекрасный день потребуют свою долю наследства.

Я невозмутимо продолжаю:

— Не знаю, какая у него дочь... Ее не было дома, когда Эдди Паркер навестил их в Ньюарке... Но старший очень хороший парень... В свои двадцать лет он чувствует себя ответственным за семью... Что касается их дела, им нетрудно управлять...

— А если он влюбится?

— Разве я беспокоился, когда Жак женился в первый раз, а также на прошлой неделе, когда он пришел рассказать мне о Хильде?

— Это совсем другое дело...

— Почему?

Она не знает, что ответить.

— Ты поедешь туда?

— Не думаю.

— Они тебя не интересуют?

— Я не отваживаюсь провести несколько часов в самолете...

— Существуют теплоходы...

— Откровенно говоря, мне не хочется больше путешествовать... Потом, если они захотят познакомиться со мной, они всегда смогут ко мне приехать...

Я сержусь на себя за свою жестокость. Жанна ведь прежде всего мать, как и все другие матери.

Пока мы были женаты, она не пыталась изменить мой характер, или мой образ жизни, как это делают многие женщины.

Может быть, мы недолго были любовниками, зато стали хорошими приятелями.

Мы и сейчас хорошие приятели.

Чтобы выйти из положения, я говорю:

— Кто знает, что может случиться...

Собственно, я ничего не имею в виду. Жизнь так стремительно меняется, и неизвестно, будут ли существовать частные банки че-

рез десять, даже через пять лет? Весьма возможно, что когда-нибудь наследование станут считать чудовищным обычаем...

Жанна встает.

— Ну, мне пора...

•— Скажи Натали, пусть она приходит, когда захочет...

— Скажу...

•— Я буду рад... Спасибо, что пришла...

Она улыбается.

— Ты, кажется, становишься церемонным...

Теперь улыбаюсь я.

Да и как же иначе? Несмотря ни на что, мы остаемся старыми друзьями.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Сегодня вторник. Ровно неделя, как я получил письмо от Пэт.<sup>^</sup>

Утром произошел незначительный случай, который меня раздосадовал. Причиной всему невольно послужила Жанна. Вчера вечером мне не понравилось, как она говорила о мадам Даван.

И вот сегодня утром, когда моя домоправительница поднимала шторы, я невольно посмотрел на нее иначе, чем смотрю обычно. Она вдруг обернулась. Что уловила она в моих глазах? Во всяком случае, мадам Даван покраснела, как накануне покраснел я, и рука ее дрожала, когда она подавала мне кофе.

Не смешно ли это в семьдесят четыре года? Я много думаю о своем возрасте, слишком много. Так, например, если иногда я хожу на улицу Лонгшан к мадам Бланш, то это потому, что не хочу навязывать старикашку вроде себя никакой другой женщине, кроме профессионалки.

Однако я не чувствую себя старым. Не знаю, знакомо ли это ощущение другим мужчинам моего возраста. В глубине души мне кажется, что я так и остался мальчишкой.

В молодости я был убежден, что рано или поздно все становятся взрослыми, что наступает момент, когда вдруг чувствуешь себя сильным, уверенным и решаешь все вопросы мудро и хладнокровно.

Это не так. Многие мужчины лучше меня умеют играть комедию, облачаются в строгие и торжественные одежды, нарочно придают своим лицам важность. Придумали титулы, так называемые почести, ордена, академии.

И все же остаются мальчишками.

Давеча я покраснел, будто меня застали на месте преступления. А что произойдет теперь? Произойдет наверняка, но, надеюсь, не испортит наших отношений.

Почему, сидя в ванне, я вспоминаю, при каких обстоятельствах встретил графиню Пассарелли? Может быть, потому, что и в тот раз я вел себя, как только что оперившийся юнец.

Мне было пятьдесят восемь. Прошло уже семь лет, как я раз-

велся с Жанной, но жениться не думал. У меня бывали порой приключения, и я наслаждался свободой.

Это произошло в Довиле. Я играл, напротив меня сидел красивый мужчина с седыми волосами и очень молодым лицом, маркиз д'Энанш. Почему вдруг нас обуял дух соперничества? Всякий раз, как он срывал банк, я ставил такую же сумму, и он не отставал от меня. Мы с каждым кругом увеличивали ставки, пока наконец игра стала довольно крупной.

Остальные партнеры фактически уже вышли из игры, а любопытные, стоя вокруг, следили за нашей дуэлью..

Вот тут и появилась молодая женщина, строго одетая во все черное, с восхитительным бриллиантовым ожерельем. Став за стулом маркиза, она наклонилась и поцеловала его в щеку. Он обернулся улыбаясь, пожал ей кончики пальцев.

Я не сомневался, что они любовники. И мне вдруг пришла мысль отбить ее у него. В 'общем, бросить вызов. Будто я хотел увериться в своих силах. Это заняло целую неделю, однако своего я добился, лишь заговорив о браке.

Так я женился на ней, и в течение трех лет она возила меня за собой повсюду, где привыкла бывать.

— Прошу прощения, дорогая, но мне придется больше жить в Париже, этого требуют мои дела. Я и так чересчур ими пренебрегаю с тех пор, как узнал вас...

Мы с ней никогда не говорили друг другу «ты». Между нами никогда не было настоящей близости.

— Почему вы не сказали мне об этом раньше?

Она смотрела на меня большими удивленными глазами.

— А я-то хотела доставить вам удовольствие, развлечь вас...

Совершенно просто она предложила разойтись. Никаких средств на свое содержание она не потребовала.

Разве я был более зрелым, когда женился на Жанне? Тогда я в первый раз встретил девушку столь же умную, как и привлекательную. Сначала я просто хотел быть ее другом. Потом в один прекрасный день мы сошлись, и я решил, что мой долг жениться на ней.

Ну а что касается Пэт...

Бедная Пэт! Я думаю о том, что сейчас она лежит на больничной койке в Бельвю. Она была натурщицей с великолепным телом. Она была американкой, а я в то время как раз «открывал» Америку...

Если бы я поглубже заглянул в себя, я, конечно, понял бы, что многие из своих поступков я совершал, желая увериться в собственных силах. Мужчины в присутствии других мужчин проявляют некоторую стыдливость, которую они теряют перед женщинами. Я никогда не спрашивал у своих ровесников, смущают ли их подобные мысли.

Мадам Даван приготовила мне серый костюм, довольно светлый для этого времени года. Обычно она сама выбирает мне по

утрам одежду. И почти всегда удачно. Не нарочно ли она сегодня достала тот костюм, в котором я кажусь моложе и веселее?

Я в-нерешительности. Она тоже и спрашивает взглядом моего одобрения.

— На улице как раз солнце...— говорю я, посмотрев в окно.

Я спускаюсь в контору, как всегда, в девять часов пять минут и сажусь разбирать почту: главным образом счета, просьбы о деньгах на различного рода благотворительность, письма профессиональных попрошаек, не понимающих, что при некотором опыте их можно узнать с первых строк.

Извещение о смерти. Сначала имя умершего ничего мне не говорит. Люсьен Лагранж скончался на семьдесят седьмом году. Следует длинный перечень титулов и орденов.

В конце концов я вспоминаю, что он когда-то был управляющим Французским банком и что мы не раз с ним встречались. Я думал, он уже давно умер.

Достаю из ящика письменного стола записную книжку с адресами, в красном переплете. Я купил ее на бульваре Сен-Мишель, когда еще учился на юридическом факультете. С тех пор я не заводил другой. В ней имена тех, кто были моими друзьями, приятелями, просто знакомыми, имена женщин и номера их телефонов.

Каждый раз, как я узнаю, что кто-нибудь умер, я вычеркиваю его имя синим карандашом, и вычеркнутых имен теперь гораздо больше. Моя адресная книжка напоминает кладбище.

• Сегодня я ее перелистываю. И вновь нахожу следы уже забытых мною людей. Некоторые, может быть, и не умерли. Просто исчезли из обращения, точнее, исчезли с моей орбиты.

У моих знакомых, наверно, как и у меня, тоже есть записные книжки, и однажды утром, получив извещение в черной рамке, они вычеркнут мое имя.

Лучше пойду-ка я в клуб. Гимнастика. Массаж. Немного плаванья.

— У вас, но крайней мере, есть сила воли,— часто повторяет мне Рене.— Смотрите, в какой вы хорошей форме...

Он думает, что его слова доставляют мне удовольствие. Для меня же они означают, что, если бы я не принимал мер, я бы превратился в опустившегося старика.

Старик... Мальчишка... Зачем думать об этом?

На днях обязательно поеду за город. Я уже давно не видел полей, деревни, коров, проселочной дороги.

Случалось, прежде я велел отвезти себя за тридцать-сорок километров от Парижа. Просил Эмиля остановиться и шел пешком, куда глаза глядят. Иногда заворачивал в таверну и выпивал стакан легкого местного вина. На меня смотрели с любопытством, потому что видели, как я выходил из «роллса».

— На площадь Оперы, Эмиль...

Я хочу, чтобы вокруг меня была уличная толпа, хочу поглазеть

на витрины. Тепло. Иду по улице Мира, где почти все те же магазины, которые я знаю всю жизнь.

Захожу в бар отеля «Риц» выпить рюмку портвейна, и бармен Жорж замечает:

— Давненько вы у нас не были.

Он приглядывается ко мне — не изменился ли я, не был ли болен.

— Вы все такой же! В полной форме! Совсем не полнеете!

Завтракаю один; подает мне мадам Даван. Я не ошибся сегодня утром. Между нами возникла какая-то неловкость. Я еще не знаю, как устранить ее и стоит ли ускорять события.

Любопытно, что эта неловкость возникла из-за Жанны. Она высказала свое предположение как бы невзначай, но, насколько я ее знаю, она никогда не говорит просто так.

Ложусь отдохнуть. Главное — ни о чем не думать. Только вспоминать какие-нибудь картины прошлого. Лучше далекого прошлого. Я предпочитаю картины детства, в особенности те, которые уже утратили отчетливость. В конце концов они мешаются, и это признак того, что я засыпаю.

Я удивился, увидев, что солнце заливает комнату. Мадам Даван, стоя у окна, поднимает шторы.

— По-моему, сегодня вы уснули, правда?

— Кажется, даже видел сон...

Напрасно я стараюсь его вспомнить. Но он был приятный.

— Вас ждут в гостиной.

— Кто?

— Молодая женщина; она просила доложить, что пришла Хильда.

Должно быть, Жак сказал ей, что легче всего меня застать после дневного отдыха.

— Она одна?

— Да.

Любопытно, но за последнее время я привык к неожиданностям. Я не тороплюсь. Я дорожу минутами, когда я пью кофе и смакую его маленькими глотками. Раз или два подхожу к окну.

Почему я думаю о пышности эпохи, когда были построены здания на Вандомской площади? Тогда же был построен и Версаль. Мужчины носили камзолы из переливчатого шелка, парики.

Им тоже нужно было обрести уверенность в себе. В том числе, конечно, и Людовику XIV, который захотел окружить себя всем этим великолепием.

Пересекаю кабинет и вхожу в гостиную. Перед «Буксиром» Вламinka задумчиво стоит высокая светловолосая девушка. Она быстро оборачивается, и в ее взгляде я читаю удивление.

Значит, мой вид удивляет ее? Неужели по описаниям Жака или Натали она представляла меня иным? Выше? Толще? Старше? Моложе?

Лицо у нее открытое; она смело смотрит мне в глаза.

— Наверное, я поступила невежливо?

Я улыбаюсь, подавая ей руку. На ней шотландская юбка, очень короткая, белые чулки, не доходящие до колен, и мокасины.

Бежевая куртка довершает ее сходство с ученицей коллеги, но она на целую голову выше меня.

— Я подумала, что если буду ждать, пока Жак познакомит меня...

— Он, вероятно, занят устройством нового помещения?

— Вы не представляете, в какое состояние привела его ваша щедрость. Идеи просто бурлят в нем. И каждый день новые, а бедный архитектор не знает, на чем остановиться...

Говорит по-французски она свободно, акцент едва заметен.

Она снова поворачивается к Вламинку.

•— Великолепно, правда? Художникам этой поры можно позавидовать!

Потом она осматривается вокруг, покачивает головой. Очевидно, гостиная производит на нее впечатление.

— Я не думала, что все это можно еще у кого-то увидеть...— Она показывает на картины: — Сезанн... Пикассо... Хуан Грис... Настоящие музейные полотна, вы понимаете?

Я улыбаюсь ей, чувствуя, что она прямая и бесхитростная девушка. На лице ее не заметно никакой косметики. Может быть, немного пудры и чуточку губной помады.

— А вид какой из окон!.. Мебель, несомненно, той же эпохи, что и эти здания...

— Да... В кабинете висит моя любимая картина... Ренуар... Хотите посмотреть?

Мы проходим через столовую, и она все так же восхищенно оглядывается вокруг. В кабинете Хильда живо оборачивается ко мне.

— Это вы придумали обить стены кожей?

— Я решил, что это больше подходит для мужчины...

Она с какой-то нежностью смотрит на мою юную купальщицу.

— Я не ожидала... Я думала увидеть строгую обстановку, как у большинства богатых людей... Вы давно собираете картины?

— Я не коллекционер... Я аросто покупал картины, которые мне нравились,— начал еще в то время, когда денег у меня было совсем немного... Тогда они стоили недорого...

— Здесь как в волшебной сказке...

У нее длинные ноги, очень светлые волосы. Рядом с ней Натали должна казаться ужасно неестественной или совсем девчонкой— в сущности, она и есть девчонка, и ее косметика, ее сигареты, ее ужимки исчезнут в один прекрасный день.

— Это правда, что вы не возражали, когда Жак объявил вам о своем желании жениться?

— Но ведь он совершеннолетний, не так ли?

•— Конечно. Но вам могло не понравиться, что в вашей семье появится незнакомая женщина...

•— Я подозревал, что вы не долго останетесь незнакомой...

•— Какое я произвожу на вас впечатление?

Ее прямота меня просто смущает.

— Впечатление рослой, здоровой и свежей девушки...

— Вам не кажется, что я держусь слишком наивно?..

— По-моему, скорее непосредственно... Что мне вам предложить?.. Шотландское виски?..

— У вас, наверно, нет фруктовых соков?

— Конечно, есть...

Я звоню. Мадам Даван сразу замечает, что мы с Хильдой уже подружились.

— Какие у нас есть фруктовые соки?

— Апельсиновый, малиновый, лимонный...

— Малиновый, если можно... А вам?

— Я только что пил кофе...

— Знаю... После дневного отдыха... Я многое о вас знаю... Только все представляла себе иначе...

Мы сидим друг против друга в кожаных креслах, и мне приятно, что она не натягивает то и дело на колени свою короткую юбку, как большинство женщин. Ей совершенно безразлично, что я вижу ее ляжки. Она вполне могла быть нюдисткой.

— Вы из какой части Германии?

— Из Кёльна... Мой отец — учитель музыки... Когда я говорю это, на меня смотрят с удивлением, все думают, что теперь не учатся играть на рояле... У меня два брата, младше меня... Моя мать еще очень молодая...

• — Вы сообщили им о том, что выходите замуж?

— Разумеется... Я пишу им два или три раза в неделю, в особенности отцу... Мы с ним вроде сообщников...

Такой радости я не испытал. Завидую этому человеку.

— Например, когда я решила ехать учиться в Париж, то сказала об этом ему... Мама подняла бы крик и сделала бы все возможное, чтобы мне помешать... А отец все уладил... Он мягкий, терпеливый человек и в конце концов всегда добивается своего...

Она, как ребенок, пьет свой малиновый сок, и вокруг рта у нее появляется лиловая кайма. Она догадывается об этом по моему взгляду, достает из сумочки платок, смачивает его языком.

— Жак говорил вам, как бы мы хотели пожениться?

— Ничего он мне не говорил. Мои сыновья и внучка почти не посвящают меня в подробности своей частной жизни...

— Почему?

• — Наверное, думают, я слишком стар, чтобы понять...

— Вы не старый... Я, например, все рассказываю отцу... Когда я влюбилась в Жака и сошлась с ним, я написала отцу об этом...

Просто чудесно. Не устаешь смотреть на нее и слушать и жалеешь, что в молодости тебе не повезло и ты не встретил такую девушку, как она.

Понимает ли сын, какое редкое счастье ему выпало? Не испортит ли он ее, если введет в мир Сен-Жермен-де-Пре, повезет в Сен-Троpez, еще бог знает куда?

— Впрочем, с вами я тоже буду делиться всеми своими мыслями... Ничего, если я иногда буду приходить к вам?

— Я был бы в восторге...

— Натали не часто к вам приходит, правда? -

— Только когда я ей нужен...

Она качает головой. ^

— Не надо на нее сердиться... Не ее вина, что она не может жить просто... Я уверена, она сама мучается... Поэтому и не сидит дома, идет куда угодно, и чаще всего туда, где шум, полно народу, табачный дым, музыка...

— А вы?

— Мне тоже случается бывать в кабачках. Жак водит меня туда...

— Вы очень подружились с Натали?

Чувствую, что она колеблется. Потом просто отвечает:

— Я ее очень люблю...

— Она вас не раздражает?

— Раздражает? Нет... Иногда немного утомляет... Ей всегда нужно что-то делать, куда-то идти... Ей не сидится на месте, и я не могу за ней угнаться... Так можно сказать?

— Конечно...

— Она радуется, что поступает в Школу изящных искусств. Теперь ей понадобится мастерская. В квартире у ее бабушки негде заниматься живописью...

— Что же она думает делать?

— Хочет снять мастерскую и жить там одна...

Она испытующе смотрит на меня, ожидая, как я отнесусь к этому. Но я не протестую, и это ее удивляет.

— Жанна, конечно, не захочет...— Она называет мою бывшую „жену по имени.— В конце концов, Натали еще нет шестнадцати.

; — А вам?

— Восемнадцать... Я знаю, что мало!.. Но я уже год как в Париже...

— Вы в Германии научились французскому?

— Да... Отец очень хорошо говорит по-французски... И еще по-итальянски и немного по-испански... А вы на каком языке говорите, кроме французского?

— Только на английском...

— Я говорю по-английски с ужасным акцентом... Я вам надоела, наверное... Боюсь, не слишком ли я задержалась... Кажется, это неприлично для первого визита...— Она смеется.— Я слышала, вы очень приличный господин...

— А я не приличный? •

— Вы совсем простой...

Неужели в нашей семье появится человек, который не ошибается на мой счет? А вдруг хорошее впечатление, которое я произвел на нее сегодня, окажется мимолетным?

— Я начала говорить вам о планах Жака относительно нашей женитьбы... Мы оба не хотим свадебной церемонии в присутствии

обоих семейств, с дядями, тетками, друзьями... Это вас шокирует?..

— Вовсе нет.

— Моего отца тоже. Он даже не приедет в Париж. Мы сами как-нибудь съездим его повидать... Мы просто отправимся в мэрию, одетые как всегда, с двумя свидетелями — еще не знаем какими... Потом мы позавтракаем или пообедаем вдвоем...

— Вы любите покушать?

— Очень... Это значит, что я потом растолстею... Я предупредила Жака...

— Вы отправитесь в путешествие?

— Зачем? Вернемся домой. Сначала мы надеялись, что в новую квартиру, но у нас нет терпения ждать так долго... Там очень грязно, нужно все красить... Сразу видно, что жили старые люди...

Она закусывает губу и этим только подчеркивает сказанную бестактность. Но тут же быстро обводит взглядом комнату.

— Там Не так, как здесь...

Я улыбаюсь, давая понять, что она меня не обидела.

Я все-таки захожу в банк, хотя он уже закрыт для клиентов, и немного позже получаю длинную каблогранму от Эдди. Счетовод, которого он наконец послал в Ньюарк, очень быстро закончил свою работу, и Эдди утверждает, что тридцати тысяч долларов хватит не только на то, чтобы спасти их предприятие от банкротства, но и для того, чтобы оно снова нормально работало.

Есть новость и о Пэт. На будущей неделе профессор Пендертон будет ее оперировать. День еще не назначен.

Разумеется, я отвечаю Паркеру, чтобы он позаботился о заправочной станции Боба и сообщил мне все о здоровье Пэт.

Визит Хильды подействовал на меня благотворно. Стало легче на душе, и уже не хочется с утра до вечера размышлять, как это было в последнее время.

Надо немного пройтись. В какой-то витрине я вижу маленький английский автомобиль со съемным верхом — по-моему, идеальная машина для молодой женщины. Это будет мой свадебный подарок Хильде. Она всегда сможет поехать, куда ей захочется, независимо от мужа.

Вечером между мной и мадам Даван опять кое-что происходит. Как обычно, она ждет в спальне, пока я лягу. Мы желаем друг другу доброй ночи. Но, дойдя до двери, она вдруг останавливается, оборачивается ко мне, открывает рот, чтобы что-то сказать, и торопливо выходит. Однако тут же возвращается, потому что забыла погасить свет.

Сплю я превосходно, не просыпаюсь ни разу; утро опять солнечное?

— Не поехать ли мне за город? — говорю я мадам Даван за первой чашкой кофе.

И не решаюсь спросить: может, и она поедет со мной. Она почти никогда не выходит из дому.

Возможно, позавтракаю в какой-нибудь таверне. Там посмотрю...

В клуб я не еду. В банке едва бросаю взгляд на почту. Эмиль ждет меня с машиной перед массивными воротами.

— В какую сторону ехать?

Мы часто направлялись вверх или вниз вдоль Сены или в долину Шеврезы. Сейчас я, как бывало раньше, хотел бы выехать на спокойную боковую дорогу.

— Поезжайте вдоль Марны, пока не кончится дорога, или вдоль канала...

Я не ездил в ту сторону с тех пор, как первый раз вернулся из Соединенных Штатов. Пэт захотелось побывать в деревенском кабачке. Мне указали на такой в окрестностях Ланьи, и мы туда поехали.

— Поезжайте через Ланьи...

Там теперь не один, а четыре кабачка, конкурирующие между собой. Точнее, рестораны-дансинги, почти роскошные.

Мы заезжаем довольно далеко; последняя надпись гласит: Танкру. Деревня. Сразу после нее дорога спускается к Марне.

— Я выйду здесь, подождите меня...

Это настоящая грунтовая дорога, какие бывали прежде, с откосами по обеим сторонам, с живой изгородью. Метрах в двухстах я вижу ферму, где по куче навоза бродят куры, утки гуськом направляются к маленькому пруду. Я и не знал, что все еще существуют такие пруды. Поверхность его покрыта водяной чечевицей. Не знаю, правильное ли это название, но в детстве я называл ее так, когда играл в полях. Для этого мне не надо было далеко ходить. Поля начинались почти сразу же за мостом Сен-Лоран.

Я всегда жил в городах. И наш парк в Довиле никак не найоминал сельское приволье; то же самое в Кап-д'Антиб.

Я вдруг пожалел, что не купил участок земли с фермой, как многие парижане. Может быть, для детей это было бы полезно. Но теперь слишком поздно.

Смотрю на живую изгородь и вдруг узнаю листья на кусте. Смотрю выше и вижу орехи, они еще не созрели.

И все-таки орешник зеленеет. Несмотря на самолеты, автострады, химические корма для скота...

Орехи растут по три и даже по четыре. Их бледно-зеленая оболочка, похожая на платице, вяжет рот. Помню неприятное ощущение, когда я отдираю ее зубами.

Глупо. Я взволнован, и сам удивляюсь этому. Повторяю про себя, как будто сделал открытие:

— И все-таки орешник зеленеет...

Я словно вижу в этом какой-то символ, хотя и довольно туманный. Наверное, он означает, что, как бы ни менялся мир, в нем всегда останутся уголки, благоухающие свежестью.

А человек?

Пытаюсь дотянуться до орехов: нет, слишком высоко. Надо влезть на откос, „покрытый скользкой травой. Еще сломаю руку

или ногу. Иду немного дальше по дороге, но не дохожу до Марны и поворачиваю обратно.

— А теперь куда? — спрашивает Эмиль, берясь за баранку.

Я не знаю. Настоящих таверн больше нет, а в нынешних мне всегда подавали невкусную еду и все вокруг было какое-то нарочитое.

— Домой.

В сущности, деревня всегда пугала меня. Там природа предстает во всей своей жестокости, с ветрами, грозами, наводнениями, оползнями. Даже полевые цветы, да и трава, напоминают плесень. И рядом с каждой деревней — кладбище.

В городах чувствуешь себя спокойнее. Цепочки городских огней зажигаются прежде, чем наступят сумерки.

Я завтракаю, потом отдыхаю. В сущности, уже так давно время для меня будто застыло, ничего не происходит, и я лишь хожу по кругу, как цирковая лошадь.

Проснувшись, я сразу же замечаю, что мадам Даван хочет мне что-то сказать.

— Вас ждет мадемуазель Натали...

Любопытно. Месяцами никто ко мне не ходил, кроме доктора Кандиля. Письмо Пэт как будто дало толчок. Пришла Жанна. Потом Жак. Вчера Хильда, а сегодня мне докладывают, что здесь Натали.

Они словно сговорились. Все побывали у меня, кроме Жан-Люка.

Я причесываюсь и поправляю галстук. На мне как раз костюм цвета морской волны, а когда Натали была маленькая, она утверждала, что мне больше всего идет синее.

Я направляюсь в гостиную в тот момент, когда она проходит через столовую. Она достаточно долго жила здесь, чтобы чувствовать себя как дома.

Натали подставляет мне лоб.

— Добрый день, Оаа\..

Я полагал, что Хильда уговорила ее зайти, чтобы доставить мне удовольствие. Но, посмотрев на внучку, я понимаю, что ошибся.

Ее лицо осунулось, вокруг глаз черные круги, губы дрожат, словно она чего-то боится или удерживает слезы.

Положив руку ей на плечо, я веду ее в кабинет. Еще немного, и я посадил бы ее себе на колени, как в те времена, когда она была ребенком.

Она садится напротив меня, и я замечаю, что на ней платье. Это бывает редко. Обычно она носит брюки или мини-юбку со свитером.

Платье она надела специально для меня.

— Что-нибудь неладно?..

Она смотрит на меня испытующе, словно спрашивая себя, до какой степени можно мне довериться. Она никогда не посвящала меня в свои тайны, поэтому я не знаю, с чего начать.

Спрашиваю небрежным тоном:  
— Влюблена?..  
Она машинально отвечает:  
— Была...  
— Он уехал? ; • ..  
Натали пожимает плечами. Может, в последний момент она передумает, встанет и уйдет? Надо удержать ее. Она так нервничает, что на нее больно смотреть.  
— Слушай, девочка, ты все мне можешь сказать, даже то, что кажется тебе самым важным...  
И она тут же выкладывает самую страшную из своих тайн:  
— Я беременна...  
Я постарался и глазом не моргнуть, ничем не выдать своего изумления.  
— Ты не первая, с кем это случилось, не так ли? А что говорит отец ребенка?  
— Его уже нет в Париже...  
— Он собирался на тебе жениться?  
— Нет. . . . ',-."  
— И несмотря на это...  
— Я сама захотела с ним сойтись... Я думала, он предохраняется...;  
— А ты убеждена, что беременна?.. Ты была у врача?..  
— Вчера утром...  
-;!г- У Кандиля?  
— Нет... У одного врача на бульваре Сен-Жермен...  
*туг*, Ты кому-нибудь уже сказала?  
— Жанне вчера вечером...— В ее голос звучит досада.— Она не поняла...  
— Чего не поняла?  
— Что я отказываюсь избавиться от ребенка...  
Я удивился, как, должно быть, и моя бывшая жена.  
— Она говорит, что я еще слишком молода да еще такая худая, едва сформировалась, роды могут быть неудачными. К тому же этот ребенок всю жизнь будет для меня обузой...  
Она пристально смотрит на меня, и я стараюсь не отводить глаз.  
— А вы тоже так думаете?  
Нужно отвечать, иначе я потеряю ее доверие, только что зародившееся и, должно быть, еще совсем хрупкое.  
— Нет...  
Она просияла. ,  
— Вы считаете, что я могу оставить ребенка?  
:• — Конечно...  
— И это не испортит мне жизнь?  
— Мы устроим так, чтобы ничего не испортить...  
— Каким образом?  
— Пока не знаю... Надо подумать... Кто тебя надоумил прийти ко мне?

- — Хильда... Я позвонила ей сегодня утром, чтобы встретиться в кафе... Она обещала ничего не говорить моему отцу...  
— Ты не хочешь, чтобы он знал?  
— Пока нет.: Он так увлечен своей новой галереей!.. Живет в мечтах... Я не имею права...  
— А как думает Хильда?  
— Колеблется. То склоняется на сторону Жанны', то соглашается со мной... Она ведь вчера была у вас... Вы произвели на нее сильное впечатление...!Любопытно: она в восторге от этой квартиры... Она находит, что вы сохранили молодость и широту взглядов...  
— А ты этого не считала?  
— Может быть...  
— На что же ты надеялась, когда шла ко мне?  
— Не знаю... В сущности, ни на что... Пришла, будто в воду бросилась...  
— Вечером я позвоню бабушке...  
— Я постараюсь уйти... В котором часу вы позвоните?  
— А в котором часу вы обедаете?  
— В половине девятого... Случается, что и в девять... Она иногда поздно возвращается из редакции...  
— Тогда я позвоню около десяти... Она знает, что ты пошла ко мне?  
— Нет... Знает только Хильда...  
— Она тебя провожала?  
— Как вы догадались?  
— Где она сейчас?  
— Ждет меня в'баре на улице Кастильоне... Значит, вы действительно думаете, что я могу...  
— Что ты можешь оставить ребенка?! Черт побери!..  
По ее щекам потекли слезы. Передо мной и в самом деле сидит всего лишь девочка.  
— Простите... Это оттого, что мне стало легче..Г А вам удастся убедить Жанну?  
— Не сомневаюсь.  
— Когда мне опять прийти?  
•— Ну, дня через два.  
>— Почему через Два?  
— Потому что я должен навести справки.  
— Насчет чего?  
— Насчет того, как устроить будущее...  
Она все еще колеблется, потом шепчет!  
— Я вам верю..."  
Не могу удержаться, чтобы не спросить;  
— Этот парень был у тебя один? .  
Она кивает головой.  
— Он иностранец?  
— Нет, но он живет-в Марокко...  
•— Ты его не любишь?

— Ненавижу.  
^ Мы молча смотрим друг на друга. Мне больше нечего сказать. Ей тоже. Она встает первая, обнимает меня и целует в обе щеки.  
•— Спасибо, *Vad...* Я никогда этого не забуду.  
— Иди к Хильде и скажи ей, что и я считаю ее очень симпатичной.  
— С ней могло случаться то же, что и со мной... Она сделала то же самое... Так же как и я, сама захотела сойтись...  
•— Знаю...  
— До свидания, Бай... Можно, мне прийти послезавтра в это же время?  
— Буду тебя ждать.  
Провожая ее до лифта и смотрю, как она-исчезает вместе с кабиной. Пока не знаю, что буду делать. Раздумываю. Кому позвонить первому? Сажусь в кресло и набираю номер Кандиля, Сейчас он как раз принимает больных. По утрам он бывает в американской больнице в Нейи, где у него обычно двое или трое пациентов. Через полчаса он пойдет с визитами.  
— Алло... Я вас не отрываю от дела?.. У вас больной?..  
— Перре-Латур?  
— Да... Вы не свободны сегодня вечером?  
— Только не в обеденное время...  
— Я хотел бы поговорить с вами по важному и довольно срочному делу...  
— Я освобожусь в десять часов, может быть, немного позже... Хотите, приеду в это время?  
— Пожалуйста...  
— Тогда до вечера...  
Сидя в кресле, я гляжу перед собой. И вижу свою внучку, ее бледное, испуганное лицо и ищу для нее выход. Может быть, Жанна отчасти и права. Что касается медицинской стороны дела, то здесь не мне решать.  
" А остальное? Конечно, такая девочка с ребенком...  
Набираю другой номер, своего адвоката Террана, который живет на набережной Вольтера.  
— Говорит Перре-Латур...  
— Как ты поживаешь?  
— Хорошо... Спасибо... Я боялся, что ты во Дворце Правосудия...  
— Я так редко там выступаю!..  
Он занимается главным образом финансовыми делами и входит в административный совет нашего банка.  
—I Ты свободен завтра утром?  
—I Только до одиннадцати часов... В одиннадцать у меня свидание на авеню Георга V.  
— Можно тебя видеть приблизительно в половине десятого?  
— Приходи...  
Без особой охоты я спускаюсь в контору и диктую мадемуазель Соланж несколько не очень важных писем. Она, конечно,

замечает, что мне просто надо убить время. И несколько раз с любопытством поглядывает на меня.

— Вам никогда не хотелось выйти замуж?

Не знаю даже, почему я спросил ее об этом. Ей, должно быть, лет тридцать пять или тридцать шесть.

— Нет.

— А вам не скучно жить одной?

— Я живу не одна. Я живу с матерью...

Были у нее любовники? Есть ли кто-нибудь сейчас? Моя сестра Жозефина, живущая в Маконе и самая старшая из нас — сейчас ей семьдесят девять лет, так и осталась в девицах. Весьма вероятно, что у нее вообще не было любовных походов. Правда, время тогда было другое.

Интересно, что говорят друг другу Натали и Хильда в маленьком баре на улице Кастильоне. Я знаю этот бар, иной раз захожу туда выпить рюмку портвейна.

Через некоторое время поднимаюсь к себе. Открываю первый том мемуаров Талейрана. У меня целый шкаф мемуаров и переписки знаменитых людей. Это не случайно. Я отлично знаю, чего ищу в этих книгах, и це очень этим горжусь. Обнаруживая слабости у великих людей и их маленькие подлости, начинаешь меньше стыдиться себя. Говоря откровенно, я не бываю огорчен, если узнаю о их физических недостатках или болезнях.

После обеда снова принимаюсь читать, а в десять часов набираю номер Жанны. К телефону подходит она.

— Натали дома?

— Нет... Ты хотел поговорить с ней?-

— Нет...

— Значит со мной? — удивляется Жанна.

Она почти сразу все поняла.

•— Натали к тебе приходила?

— Да...

— Сказала тебе?

— Она мне все рассказала... Ты действительно не советуешь ей оставить ребенка?

— Но ведь это единственный выход, не так ли? Представь себе, в шестнадцать лет она свяжет себя ребенком... И еще неизвестно, как пройдут роды... Какой совет ты ей дал?

— Противоположный твоему...

У нее перехватило дыхание. Она замолчала.

— Ты хорошо подумал?

•— Я еще не нашел выхода, но найду...

— Вот почему сегодня за ужином она ела с таким аппетитом... Не понимаю, почему она решила обратиться к тебе?.. Прежде всего следовало бы сказать отцу...

— Постарайся, чтобы она не нервничала эти дни...

— Нам с тобой надо серьезно поговорить...

— Охотно... Только не будем торопиться... Мне требуется какое-то время...

Мои слова заинтересовали ее.

— Ты что-то придумал...

— Возможно... Прости, я должен положить трубку... Кто-то пришел... До скорого свидания...

Я не лгал. В кабинет входит Кандиль, протягивает мне руку. Не зная, зачем он мне нужен, он на всякий случай взял с собой свой чемоданчик.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Этот человек, вероятно, лучше всех на свете знает меня, и как врач, и как друг. Я убежден, что он с первого взгляда понимает, в каком я настроении, и благодарен ему за то, что наблюдает он за мной незаметно.

— Вы как будто в форме,— говорит он, садясь, как обычно, в кресло.

С давних пор у каждого из нас есть свое место в кабинете, и я не забыл поставить коробку с сигарами поближе к нему.

Он замечает, что я немного возбужден, будто во мне вдруг снова пробудился вкус к жизни. Я и вправду чувствую себя моложе, увереннее в себе, освободился от мрачных мыслей, которые временами меня угнетают.

Обязан этим я Хильде и Натали. Они заставили меня поверить, что я еще могу на что-то пригодиться, и квартира моя сразу стала не такой огромной, не такой холодной, не такой пустой.

•— Вы знаете мою внучку?

— Никогда ее не видел. Я лечил ее отца, когда он был мальчишкой и жил здесь. Ведь вы говорите о дочери Жака? Если не ошибаюсь, жена у него умерла...

— Через четыре года после свадьбы... Их дочь воспитывала Жанна, моя бывшая жена. Натали и сейчас живет с ней на бульваре Распай.

— У него картинная галерея? Я, кажется, видел его фамилию где-то на вывеске...

— Теперь вы будете видеть ее чаще, Жак скоро переедет на улицу Гранз-Огюстен...

Я жонглирую новостями, как фокусник. Знаю, что сейчас удивлю моего друга Кандиля, и оттягиваю этот момент, чтобы продлить удовольствие.

— Он женится во второй раз... На восемнадцатилетней немке.

— Но ему, кажется, скоро сорок?

— Да... Моя внучка обожает свою будущую мачеху... Вы забыли зажечь сигару...

После недолгих колебаний Кандиль дает себя уговорить. Он недоумевает, неужели я пригласил его, чтобы рассказать о своих семейных делах, но спросить не решается.

— Натали в марте будет шестнадцать... Или в конце февраля... Я всегда путаю, когда кто родился...

Он молчит, затягивается сигарой.

— Сегодня она пришла и объявила мне, что беременна...

Кандиль не вздрогнул. И все же я чувствую, что новость его поразила.

— Я пригласил вас, чтобы поговорить о ней...

— Что она намерена делать?

— Сохранить ребенка, разумеется... В сущности, она им очень гордится...

— Она была у врача?

— Да, где-то на бульваре Сен-Жермен. Я не догадался спросить его фамилию.

— А вообще у нее хорошее здоровье?

— Она худа, как стрекоза, и делает все для того, чтобы расстроить свои нервы...

А все-таки он немного удивлен, что я говорю о таких вещах шутивным тоном.

— В общем, это подросток, который изо всех сил старается походить на взрослую женщину... За два года она два или три раза сменила прическу... Часами сидит перед зеркалом... Иногда веки у нее зеленые, иногда коричневые или перламутровые... Спать означает для нее терять время, и она идет на это, только если валится с ног... Ее исключили из лицея, а потом из школы, которая известна своим не очень строгим режимом... Она ждет, чтобы ей исполнилось шестнадцать лет; тогда она уйдет из третьей школы и займется изучением изящных искусств...

Можно подумать, что все это восхищает меня и что я первый этому удивляюсь.

— Она сидит до поздней ночи в погребках и кабачках Сен-Жермен-де-Пре...

— А бабушка?

— Бабушка ничего не может поделывать... Если бы мы ей мешали поступать, как она хочет, я думаю, Натали ушла бы из дома, и бог знает, где бы мы ее разыскали...

— И она выдерживает такую жизнь?

— Потому-то я и думаю, что она крепче, чем кажется...

— Прежде всего ее надо показать хорошему-гинекологу...

— Вам не кажется, что она слишком молода?

— Я не придаю значения возрасту... Я знал тринадцатилетних девчонок, даже одну двенадцатилетнюю, которые рожали вполне нормальных детей...

Подумав, он вытаскивает из кармана записную книжку, обычную записную книжку в черном клеенчатом переплете, похожую на те, которыми пользуются кухарки.

— Я ишу его телефон... Это мой старый товарищ, Пьер Жориссан, один из лучших гинекологов в Париже... Он живет на бульваре Османн... Вот!.. Номер 112... Он так занят, что лучше я сам ему позвоню... Вы позволите? Вряд ли он лег спать...

Кандиль набирает номер и стоит, приложив трубку к уху,

— Алло, Пьер?.. Говорит Аллан... Ты сейчас очень замотал-

ся?.. Конечно, как всегда... Слушай... Я звоню тебе от своего друга... Его внучка, которой еще нет шестнадцати, призналась что беременна... Не знаю... Нет... Она не хочет избавляться от ребенка... Все будет зависеть от того, что ты решишь, когда ее осмотришь... Как можно скорее, да... В таких случаях ждать не очень приятно... В двенадцать?..— Он оборачивается ко мне.— Если завтра в двенадцать?

— Конечно...

— Договорились... Ее зовут Натали... Лучше, чтобы ее фамилия не фигурировала в твоей картотеке... Это внучка Перре-Латура.« Да, банкира... Спасибо, старина... Поцелуй от меня жену...— Он снова садится в кресло.— Завтра мы узнаем, как обстоит дело.., А что отец ребенка?

— Она и слышать не хочет о нем... Насколько я знаю, он оставил о себе дурные воспоминания, и она решила, что этот ребенок будет принадлежать ей, только ей одной...

Кандиль курит, что-то соображая.

•— В связи с этим возникают некоторые вопросы, не так ли?

— Завтра утром у меня свидание с Полем Терраном; мы с ним обсудим юридическую сторону дела...

— Тут не может быть нескольких решений... Либо отец признает ребенка и даст ему свое имя, женившись или не женившись на твоей внучке,, либо надо согласиться с тем, что отец ребенка неизвестен...

— Я думал сделать иначе...

•— То есть?

— Не будем пока говорить об этом... Я хотел только знать, в чем состоит долг врача, присутствующего при родах, по отношению к властям... Обычно ведь отец является, в мэрию, чтобы объявить о рождении ребенка?

— Врач заполняет удостоверение и посылает его в мэрию.

— Это обязательно?

— Совершенно обязательно... В родильных домах, клиниках и больницах этим занимается администрация, а врач только подписывает...

— А если он не подпишет?

— Это очень серьезно. Настолько серьезно, что и думать об этом нечего...— Мои вопросы тревожат доктора: его густые брови хмурятся.— Я, например, не знаю ни одного врача, который согласился бы поставить себя в такое положение...

Я не настаиваю. Сначала мне нужно посоветоваться с Терраном.

— А ваша бывшая жена, что она говорит по этому поводу?

— Для нее само собой разумеется, что Натали должна избавиться от ребенка... Она считает, что будущее нашей внучки под угрозой...

— Понимаю...

Он тоже взвешивает все «за» и «против».

— А ваш сын, Жак? В конце концов, он отец...

— Он пока ничего не знает... Натали не хочет растранивать его накануне свадьбы и переезда на улицу Гранз-Огюстен... Послушайте... Завтра около часа я позвоню Жориссану и потом сразу же вам, чтобы поставить вас в известность...

Он смотрит на часы, подымается.

— Мне пора спать. Я встаю в шесть часов...

Он устало берет свой тяжелый чемоданчик и направляется в переднюю. Я иду за ним и нажимаю кнопку лифта.

— Спасибо, Кандиль...

— Делаю, что могу...

Я восхищаюсь его спокойствием. Он сталкивается с самыми уродливыми сторонами жизни, работает как каторжник, и дома его ждет одиночество.

Я никогда не слышал, чтобы он жаловался. Никогда не видел, чтобы он падал духом.

Вернувшись в кабинет, набираю номер Ж<sup>анна</sup> - Она подходит к телефону.

Услышав мой голос, она, кажется, удивилась.

— Есть что-нибудь новое?.. Почему ты опять звонишь?

— Я бы хотел поговорить с Натали...

— Теперь вы оба начинаете секретничать?

Она недовольна тем, что наша внучка приходила ко мне. Она воспитала Натали и считает, что это ее внучка.

— Пойду посмотрю, вернулась ли она... Она только что вышла, но потом кто-то, кажется, открывал дверь...— Ее шаги удаляются, слышно, как она зовет: — Натали... Натали... С тобой хочешь поговорить дедушка...— Потом снова берет трубку.— Надеюсь, то, что ты хочешь сказать, ее не расстроит?

— Напротив...

— Мне не нравятся эти секреты... Вопрос настолько важный, что мы должны поговорить серьезно...

— Поговорим немного позже...

— Я тебя не узнаю...

— Алло, ОаМи...—Теперь говорит Натали.— Ты виделся со своим врачом?

— Он только что ушел от меня. Он полагает, что возраст не имеет значения...

— Я же говорила...

— Он знал тринадцатилетних девочек, которые родили совершенно нормальных детей...

Она, должно быть, повернулась к своей бабушке, и я слышу, как она почти слово в слово повторяет то, что я сказал.

— Все дело в том, какое у тебя здоровье...

— А знаешь, сколько сигарет я выкурила сегодня?.. Четыре... Завтра выкурю только две... Я заставила себя съесть вдвое больше, чем обычно... Хочу привести себя в порядок, понимаешь...

— Понимаю... У тебя есть карандаш и бумага?..

— Минутку...

Я даю ей адрес Жоиссана.

— Это приятель Кандиля, моего врача, один из лучших акушеров в Париже, и ты можешь полностью ему доверять... Он ждет тебя завтра в двенадцать...

— Зачем, раз я уже была у врача?

— Так уж полагается, маленькая... Он посмотрит тебя, задаст несколько вопросов...

— А он не...

— Он даже не имеет права предлагать тебе это...

— Я все-таки боюсь...

— Хочешь, чтобы я пошел с тобой?

Еще две недели тому назад я и подумать не мог ни о чем подобном. Они меня как бы изолировали. Я был один в своей башне, в этой квартире, где старался наслаждаться тем, что у меня осталось. Они едва помнили о моем существовании. И вот теперь...

— Когда мы получим ответ?

— Какой ответ?

— Когда мы узнаем, все ли в порядке...

— Я полагаю, он тебе скажет... Потом он позвонит Кандилю, и тот сообщит мне подробности,

— А ты позвонишь мне?

— Да...

— Обещаешь?

— Обещаю...

— Подожди... Жанна делает мне знаки, хочет говорить с тобой... Доброй ночи, Оай... Спасибо... Я тебя крепко целую... Не бойся... Клянусь тебе, я растолстею...

— Алло... — Это голос Жанны. — Я полагаю, ты отдаешь себе отчет в том, что делаешь?

— Конечно...

— Ты подумал о том, что взвинчиваешь ее и что отступить уже будет невозможно?

— Если только нет серьезных медицинских причин...

— Существуют другие причины, кроме медицинских...

— Разве ты ведешь колонку сердечных тайн в твоём журнале?

Я обидел ее. Но сделал это не нарочно. Я принимаю это дело настолько близко к сердцу, что волнуюсь почти так же, как Натали.

— Хотела бы я, чтобы ты не пожалел о своем поведении, — вздыхает Жанна прежде, чем положить трубку. — Доброй ночи...

Я никогда не понимал так хорошо выражения «цепная реакция». Все началось с письма, написанного на больничной койке и вернувшего меня в далекое прошлое.

А потом женитьба Жака, эта чудесная девушка, которая пришла ко мне, будто хотела одна явиться к предводителю племени...

Мое существование стало приобретать реальность. Потом у меня в квартире появляется Натали, чтобы сделать мне признание и позвать меня на помощь.

Все это произошло почти одновременно. Я не удивлюсь, если

в мою дверь постучится Жан-Люк, хотя это и случается не чаще одного-раза в год.

А в спальне меня ждет новый сюрприз. Я знаю, что увижу там мадам Даван. Но меня поражает ее лицо, более холодное, более застывшее, чем обычно. Я сразу же подумал: сейчас она объявит, что уходит от меня.

Почему, не знаю. Но она, несомненно; приняла какое-то решение, нелегкое для нее.

— Получили неприятное известие от родных?

— У меня давно никого нет...

— Беспокоит здоровье?

— Нет... Лучше я сама скажу...

— Скажите мне сначала, счастливы ли вы здесь...

— Может быть, даже слишком... — Она как будто просит за это прощения с легкой улыбкой, которая ее молодит. — Я так при-  
выкла^..

— Я тоже...

— Вы другое дело... Вы у себя дома...

— Вы тоже у себя... Не знаю, что бы я делал, если бы вы не ухаживали за мной... Я становлюсь таким ленивым, теперь даже не раздеваюсь без вашей помощи.

Она не смотрит на меня. Уставилась на ковер. Мы оба стоим, и, должно быть, со стороны наша неловкость кажется смешной.

— Не желаете ли сесть?

Она нерешительно смотрит на одно-из двух кресел, пока я сажусь в другое.

— Вы меня боитесь?

Она сразу поняла, на что я намекаю. Она очень чуткая.

Конечно, она и не подозревает, почему я никогда не пытался вступить с ней в более близкие отношения. Я не делал этого почти из кокетства. Не хочу навязывать ей свое старое тело и боюсь, что, если буду думать об этом, у меня ничего не выйдет.

— Вы никогда не спрашивали у меня рекомендаций... Когда я пришла к вам, я боялась, что вы о них заговорите...

Я улыбаюсь, заинтересованный ее словами.

— А у вас их нет?

— Нет.

— И карточки социального обеспечения?

— Ничего нет... Вы поверили мне... И продолжаете верить, предоставили мне полную свободу... Поэтому вы должны знать... — Вам известно, откуда я вышла, когда бюро по найму прислуги послало меня сюда?

— Никогда не интересовался...

— Из Гагено, женской тюрьмы, которая тогда еще существовала... Я провела там десять лет...

Стараюсь казаться совершенно спокойным, но я ошеломлен,

— За что вы были осуждены?

— За то, что стреляла в человека...

— В любовника?

— В мужа...  
— Из ревности?  
— Мне было двадцать два года, когда я с ним познакомилась...

— В Париже?  
— Я родилась и воспитывалась в Отёйе... Мой отец был архитектором... В Сорбонне я слушала лекции по литературе и социологии, изучала то, что теперь называется гуманитарными науками... И познакомилась с братом моей подруги... Сначала мы проводили время втроем... Потом перестали брать подругу с собой... Произошло то, что должно было произойти...

— Сколько ему было лет?  
— Тридцать...  
— А что он делал?  
— Его отец занимался производством шин, и Морис работал на одном из его заводов... Мы поженились...

— Вы были беременны?  
— Нет. Думаю, у меня не может быть детей, я никогда ничего не делала, чтобы избежать беременности... Года через два мой муж все чаще стал оставлять меня одну по вечерам. Я стала следить за ним. Оказалось, он встречался с одной женщиной или в ресторане, или у нее дома, возле ворот Дофин... Тогда я достала револьвер...

— Как? Разве их продают без особого разрешения?  
— Я знала, что уже несколько лет у моего отца в ящике ночного столика лежит револьвер. Я разыграла настоящую комедию, вошла к нему в спальню и сунула револьвер в сумочку... Потому-то на суде установили отсутствие смягчающих обстоятельств и присяжные решили, что я стреляла преднамеренно...

Я не скрываю своего удивления и замечаю:  
— Но раз вы достали револьвер...  
— Вот видите! Вы тоже не понимаете. Я как бы бросила вызов самой себе. Мне было стыдно ревновать и отравлять себе жизнь из-за женщины, с которой мой муж, возможно, перестал бы встречаться через несколько месяцев...— Она, судя по всему, вполне искренна.— Иногда я повторяла себе вполголоса: «Я убью их обоих...» Но знала, что никогда этого не сделаю...

— Однако же сделали...  
— В нее я не стреляла. Однажды вечером я должна была задержаться допоздна, но назначенная встреча не состоялась и я рано вернулась домой... Еще на улице я удивилась, что спальня освещена... Бесшумно открыла дверь... Услышала женский голос и голос моего мужа... Они говорили обо мне и смеялись... Я достала револьвер, спрятанный в бельевом шкафу, под простынями... Могу утверждать одно: все происходит не так, как представляется потом, после судебного разбирательства... Действовала я будто бы спокойно, продуманно, а на самом деле как-то машинально, не отдавая себе отчета... Мой адвокат тоже этому не поверил... Они оба лежали раздетые на нашей постели, на моей постели... Снача-

ла, захваченные врасплох, они испугались... А потом муж натянуто улыбнулся и бросил мне: «Значит, Жюльетта, вы делите меня?» Я выстрелила всего один раз... Увидела кровавое пятно у его плеча... Женщина принялась истерически кричать, а я вышла... Десять минут спустя я остановила свою машину перед полицейским комиссариатом...

Я смотрю на нее с невольным любопытством: ее спокойствие давно удивляет меня и я не раз себя спрашивал, где и каким образом обретают подобную безмятежность. Она неправильно понимает мой взгляд и говорит тихо, без всякого упрека:

— Вы тоже считаете меня циничной?  
— Напротив. Я наконец узнал, почему вы так сдержанны...  
— Однако говорили, что на суде я вела себя возмутительно. В одних газетах писали о моем самодовольном виде, в других о моем равнодушии. На самом деле я была подавлена этой инсценировкой, в которой искажался даже проблеск истины.

— Ваш муж умер?  
— Нет. Но был на грани смерти.. Ему успели сделать переливание крови. С тех пор он держит голову немного набок и правая рука у него не действует...

— Вы жалеете о том, что стреляли?  
— Конечно...— Она колеблется, глядя мне в глаза.— По правде говоря, не знаю... В то время я верила, что если два существа...

— Мы всегда верим... Я был женат три раза — и все три раза верил...

— Я знаю...  
— А добился только того, что больше не питаю никаких иллюзий...

— Я тоже рассталась с ними...  
Мы оба вдруг улыбаемся одной и той же улыбкой.  
— Через год после того как я оказалась в Гагено, по требованию мужа я дала ему развод... Думаю, он женился вторично... Но меня это не интересует...

Я хотел бы объяснить ей, что я чувствовал после трех своих разводов, что я чувствую теперь, когда Жанна навещает меня, но это было бы слишком долго и, наверное, ничего нового я бы ей не сообщил. Она так давно наблюдает меня, что в конце концов сама обо всем догадалась.

Так мы сидим друг против друга, словно сообщники. Она в своем неизменном переднике. Из его кармана она машинально вытаскивает пачку сигарет, но тут же спохватывается.

— Простите...  
— Прошу вас... Я никогда не видел, чтобы вы курили...  
— Потому что я курю только у себя в комнате., Я вас не шокирую?  
— Нет.

— Вы не сердитесь на меня за то, что я так долго ничего вам не говорила?

— От этого ничего бы не изменилось...

— Все это время я чувствовала себя мошенницей... В Гагено я целых три года шила мешки... Директриса меня ненавидела, как ненавидела всех, у кого было какое-то образование... Так продолжалось, пока меня не заметил врач и не дал мне работу в лазарете... Там я получила кое-какие медицинские знания... Во всяком случае, в Гагено я больше узнала о людях, чем в Сорбонне...

— Можно подумать, что вы не жалеете об этих годах...

— Теперь я-о них не жалею...— Она нерешительно встала, улыбнулась мне. Потом потушила сигарету и продолжала своим обычным голосом: — Вам пора ложиться...

Мы не прикоснулись друг к другу. Она убрала мою одежду, а я не торопясь проделал вечерний туалет, И лег в постель,

— В котором часу вы встанете?

— Как обычно.

То есть в половине седьмого.

•— Доброй ночи, мосье.

— Доброй ночи, мадам Даван...

Она хотела еще что-то добавить. Я чувствовал, что ей нелегко и что она уже готова отказаться от своего намерения. И все же она едва слышно произнесла:

— Здесь я счастлива...— повернула выключатель и вышла.

Уже несколько месяцев я не видел Поля Террана. Прихожу точно в половине десятого, и секретарь сразу же ведет меня к нему в кабинет. Мы вместе учились на юридическом факультете. Он мне ровесник, но гораздо полнее меня. Уже в университете он был маленьким толстяком.

Он встает и, широко улыбаясь, протягивает мне руку.

•— Как поживаешь?

— А ты?..

— Посмотрим, очень ли ты изменился с прошлого раза...

Когда мы встречаемся, мы всегда играем в эту игру. Оглядываем друг друга, и каждый старается определить, кто больше состарился. Обсуждаем это откровенно, с шуточками.

— Ты все такой же стройный... По-моему, даже слишком худой...

— А ты выглядишь гораздо моложе меня...

— Потому что я толстый... Скоро не смогу вылезать из своего кресла, оно стало слишком узко для моего зада... Садись...

Этот неряшливый человек с насмешливыми глазами — адвокат крупнейших предприятий, и мало кто среди юристов так знает законы и так умеет ими пользоваться.

— Ну, что у тебя не в порядке?

— Ничего... Если не считать, что моя первая жена, Пэт, лежит в больнице в Нью-Йорке, откуда ей вряд ли удастся выбраться, а наш сын Доналд без видимой причины повесился в своем гара-

же...— Я тороплюсь добавить: — Но я не об этом пришел поговорить с тобой... Я так давно изучал право, что почти все забыл... Скажем, рождается ребенок...

— Законный?

— Просто ребенок... Обычно он должен быть признан отцом и матерью...

— Обычно так... Хотя отец, если он не женат на матери, вполне может и не признать ребенка... Существуют тысячи детей, рожденных от неизвестных отцов, согласно формуле, употребляемой в актах гражданского состояния...

— Вот это меня и интересует. А бывают дети от неизвестной матери?

Он с удивлением смотрит на меня.

— Но ведь ребенок должен выйти из материнской утробы, как же иначе?

— А если женщина отдаст его отцу, и отец признает его с условием, что мать неизвестна?..

Моя идея так его ошеломляет, что он придвигает к себе Гражданский кодекс и, как человек, который пользуется им каждый день, сразу находит нужную страницу.

— Слушай. Статья 334: «Признание внебрачного ребенка совершается путем подлинного свидетельства, если признание не было подтверждено в свидетельстве о рождении».

— Но это ведь не значит, что признание должно быть сделано отцом и матерью...

— Минутку. Вот статья 336: «Признание отца без указания матери и подтверждения с ее стороны правомочно только по отношению к отцу». А статья 339 уточняет: «Всякое признание со стороны отца или матери, так же как и всякие претензии со стороны ребенка, могут оспариваться всеми заинтересованными лицами...»

— Ты ведь сказал: отца или матери...

— Тут имеется в виду не свидетельство о рождении, а позднейшее признание... В акте гражданского состояния имя матери указывается обязательно, даже если оно должно остаться в тайне...

— Ты в этом уверен?

— Увы, да... К тому же врачам-акушерам и акушеркам строго предписано заявлять о всех родах, которые они принимают...

— А если я найду не очень щепетильного врача...

— Это ты впутался в такую историю?

— Моя внучка... Ей шестнадцать лет... Вчера она пришла и объявила мне, что беременна и ненавидит этого парня.

Поля почесывает свой лысый череп; только возле ушей у него осталось немного седых волос.

— Я начинаю понимать смысл твоих вопросов...

— Она непременно хочет оставить ребенка...

— Это говорит в ее пользу...

— Я поддерживаю ее, хотя прекрасно понимаю, что, если она представит этого ребенка как своего, впоследствии для нее вполне

возможны различные осложнения... В Швеции подобная проблема просто не возникла бы. Там много девушек с детьми и их уважают, как замужних женщин...

— Но мы во Франции... Дай подумать... По-моему, есть только один случай, когда отец беспрепятственно может усыновить ребенка, мать которого неизвестна... Если он этого ребенка найдет... Тут уж ни врач, ни акушерка не вмешаются...

< — Ты говоришь о ребенке, которого кладут на порог, как в старых романах...

— А почему бы и нет? Заметь, статья 336, если ее внимательно прочесть, дает возможность полагать, что в акт гражданского состояния внесут только заявление отца, не упоминая о матери... Думаю, такая регистрация возможна после проверки, не имело ли место похищение...

. Пока мы таким образом обсуждаем юридическую сторону дела, моя бедная Натали, должно быть, считает минуты, собираясь к доктору Жориссану.

— Врач, вот где загвоздка... Ты говорил о не очень щепетильном враче... Наверное, найдутся такие, которые согласились бы, ведь иные даже достают наркотики своим клиентам... В каждой профессии есть паршивые овцы... Правда, я бы им не доверился...

— Большое тебе спасибо...

— Я еще посмотрю... Если что-нибудь надумаю, позвоню...

Я встаю и протягиваю ему руку.

— Увидимся на днях...

— Или через полгода, как в прошлый раз... Я тебя не провожаю...

Он машет рукой с короткими и толстыми пальцами, а я благодарен ему за то, что он не задавал мне более конкретных вопросов... Не спросил, например, кто будет выступать в роли отца...

Я еще успеваю заехать в клуб. Сокращаю время занятий гимнастикой, но Рене массирует меня, как обычно, потом я плаваю.

С полудня я у себя и жду телефонного звонка. Он раздастся лишь через сорок пять минут. Это Натали.

— Он потрясающий, твой доктор...

— Он считает, что ты справишься с этим делом?

— Я прекрасно могу родить ребенка, не подвергая ни себя, ни его никакому риску. Ты с ним знаком?

— Нет. Мне его рекомендовал Кандиль...

— Он бы тебе сразу понравился... Он носит очки с толстыми стеклами, а глаза у него добрые... Сейчас я расскажу обо всем бабушке, а после двенадцати попытаюсь застать Хильду одну...

Я не говорю ей о нашей беседе с Терраном. Она полагает, что родить ребенка дело совершенно естественное, и не подозревает об осложнениях, которые за этим могут последовать.

— Еще раз спасибо, БаоМу... Ты не представляешь себе, как я счастлива... Боюсь только, Жанну это не обрадует, как меня...

Жду телефонного звонка Кандиля, совсем недолго,

— Ваша внучка звонила?

— Кажется, Жориссан считает, что у нее все в полном порядке?

— Совершенно верно... Ей надо только немного успокоиться и впредь шадить свои нервы...-

— Я был у Террана...

— Ну, что он говорит?

— Приблизительно то же, что и вы... С точки зрения законности это будет не очень трудно... Только вот врач все осложняет...

— Акушер и в самом деле не может утверждать, что не знает Женщину, у которой принимал ребенка...

— Я хотел спросить, а что, если будет только акушерка?..

— Понял... Я думал об этом... Сегодня выясню... Вы будете дома после шести?..

— Буду вас ждать...

- — По вашей милости мне приходится заниматься странными делами... Но знайте, мне ничего не известно и никакого отношения ко всей этой истории я не имею...

Давно уже не помню, чтобы я так волновался. Я даже не за-метил, что ел за завтраком. Мое возбуждение удивляет мадам Даван, и, чтобы она не думала бог знает что, я говорю ей:

— Возможно, в скором времени я сообщу вам важную новость относительно моей внучки...

— Она выходит замуж?

— Нет, гораздо лучше... — отвечаю я довольно искренне.

Днем я не могу заснуть. Из головы у меня не выходит вся эта история. Стараюсь не упустить ни одной мелочи. Потом читаю газеты, но ничего не понимаю. Наконец слышу шаги Кандиля, который на этот раз оставил свой чемоданчик в машине.

— Налейте мне немного виски... По-моему, сейчас оно пойдет мне на пользу...

Он валится в кресло и вытирает лоб.

— Вы уверены в своей внучке?

Я подаю ему виски, а себе наливаю немного портвейна.

— В каком смысле?

— Она не будет рассказывать каждому встречному, что с ней, произошло?

— Я уверен, что, если ей велеть, чтобы она молчала, она будет молчать...

— Это единственное, чего я немного боюсь...

Он и в самом деле озабочен. Чувствуется, что принимает все это близко к сердцу.

— Жориссан говорит, что она произвела на него прекрасное впечатление и что он считает ее весьма зрелой для ее возраста.

— И внучка от него в восторге, только о нем и говорит...

— К сожалению, ей не стоит больше к нему ходить... Секретарши болтать не станут, но соседи, консьержка... Через месяц-другой ее положения уже не скроешь, а такая девушка, как она, не останется незамеченной...

— Но ведь ей нужно время от времени показываться врачу?  
— Разумеется... И если возникнет необходимость, хотя это и маловероятно, Жориссан сам придет ее посмотреть...  
— Я не совсем понимаю, к чему вы клоните... У-вас такой вид, будто вы нашли выход, но мне не ясно, какой...  
— Из того, что вы сказали мне утром по телефону, я понял, что у нас явилась одна и та же мысль...  
— Акушерка?  
— Если ничего не имеете против, на некоторое время мы забудем это слово... Также его должны за-быть ваша внучка, ваша бывшая жена, да и эта юная немка, на которой женится ваш сын Жак... Вы слишком известный человек, и нам следует принять все меры предосторожности...

Я так нервничаю, что наливаю себе вторую рюмку портвейна, а мой добрый Кандиль соглашается выпить вторую рюмку виски.  
— Мне остался еще только один визит — к старухе, которая считает себя больной, а на самом деле всех нас похоронит... Скажите, ваша вилла в окрестностях Довиля все еще существует?  
— Как будто... Мы уже много лет туда не ездили... Одно время я думал ее продать, но никто не хотел заплатить за нее цену, которую я назначил... Может быть, я нарочно просил слишком дорого, потому что терпеть не могу расставаться со своим прошлым...

Я получил этому доказательство, читая письмо Пэт. У меня сжималось сердце\* будто я лишь вчера с ней расстался.

— Довиль имеет отношение к вашему плану?  
• — На какой месяц приходится пасха в будущем году?  
— Не знаю. Наверно, на апрель...  
— Чем позже, тем лучше... Жориосан полагает, что Натали, вероятно, родит в начале апреля...

Эти слова вдруг меня поражают. До сих пор мы только рассуждали. А сейчас отчетливо, как вчера, вижу хорошенькое личико моей внучки и думаю: неужели все это происходит на самом деле?.

Я повторяю, глядя перед собой:  
— В начале апреля...

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Мы с Кандилем сидим, утонув в креслах, и, должно быть, похожи на заговорщиков. Обычно громогласный доктор говорит тихо, и я вдруг ловлю себя на том, что следую его примеру.

— Насколько можно судить по заключению Жор стесана, ее состояние станет заметным через месяц...

Чем конкретнее слова Кандиля, тем нереальнее кажется мне происходящее.

— Как раз в это время ей надо бы уехать... На вашей вилле есть сторожа?

— Был старый садовник с женой. Он умер, а его жена уехала к дочери, куда-то под Фекан...

— А соседи?

— Парк довольно большой, с густыми деревьями и кустами... Уже многие годы все запущено... Из стен, наверное, сочится сырость...

— Но если эта вилла все же пригодна для жилья...—Он осушает вторую рюмку и ворчит:—Мне совсем не по душе то, что приходится делать... А особенно неловко было ехать в Иври., —Почему в Иври?

— Чтобы повидать, эту женщину, мадам Кламар... Она уже пожилая... Я знаю ее больше тридцати лет... Она работала в родильном доме и была одной из лучших акушерок... В один прекрасный день она пожалела кого-то... Это ей дорого обошлось...

— Ей можно доверять?

— Я за нее ручаюсь... Ей лет шестьдесят, но она все еще очень живая, с прекрасными седыми волосами... Из нее выйдет чудесная экономка... По-моему, вам стоило бы съездить туда, посмотреть, в каком состоянии дом... Побудьте там несколько дней: пусть люди привыкнут к тому, что ставни открыты, у дома стоит машина... А потом ваша внучка поедет туда с мадам Кламар и будет сидеть в доме, нигде не показываясь в течение пяти месяцев...

Это сложнее, чем я думал. Придется также объяснить отсутствие Натали. Я мог бы, например, отправить ее якобы в путешествие по Соединенным Штатам.

— Ладно,— ворчит Кандиль.— Мадам Кламар будет покупать провизию, готовить. У нее есть маленький автомобиль...

— А потом?

— Когда она привезет вам ребенка, ему будет дней десять, а остальное меня не касается... Дальше карты в руки вашему приятелю Террану... Один вариант: объявить о ребенке в мэрию... Причем вы откажетесь назвать имя матери... Кто предположительно будет отцом?

Мне неловко. Я боюсь показаться смешным. И все же произношу почти шепотом:

— Я.

Кандиль не удивился. У меня такое впечатление, что он этого ожидал. Он смотрит на меня, кивая головой, а я быстро добавляю:

— Хочу, чтобы ребенок носил нашу фамилию...

— Хорошо... Это не столь важно... Значит, вы пойдете записать его в мэрию и объясните, как уж там сможете, что ребенку, о котором вы объявляете, уже десять дней... О втором варианте я уже вам говорил, вы сказали, что он взят из плохого романа... Вы нашли ребенка у своего порога и хотите его усыновить... Полиция произведет короткое расследование, чтобы разыскать мать, но не будет вам препятствовать...

Усыновление мне меньше нравится. Я хотел бы, чтобы не было разницы между этим ребенком и остальными членами семьи.

— Поговорите с Терраном... Пусть он решит.

Кандиль смотрит на бутылку, и я наливаю ему третью рюмку шотландского виски. В первый раз вижу, чтобы он пил столько спиртного. Когда он уходит, лицо у него красное. Я сейчас же звоню Жанне, но ее еще нет дома. К телефону подходит Натали.

•— Что-нибудь новое, ОасНу?

•— Кажется, да...

— Можно я сейчас приду к тебе?

— Если хочешь...

Семь часов. Я и не подозреваю, что начинается один из самых удивительных вечеров моей жизни.

. Предупреждаю мадам Давая:

— Обедать я, вероятно, буду позже, если только моя внучка не захочет поест со мной...

— Хорошо, мосье...

Улыбаюсь ей, потому что она, кажется, встревожена.

— Вечером я, наверное, вам кое-что сообщу... Это не касается ни вас, ни меня... Но думаю, новость вас обрадует...

Появляется Натали. Глаза у нее стали такие огромные, что кажется, они одни на лице.

— Ну? Что будет дальше?

— Через три недели или через месяц, когда твоя фигура изменится слишком заметно, ты поедешь на виллу в Довиль, с экономкой... \*

— С какой экономкой?

- — Ты ее не знаешь... Это'пожилая дама, отличная акушерка...

Натали недоверчиво хмурится и смотрит на меня так, будто я ее уже предал.

•— Ты обещал мне...

— Я обещал тебе, что ты родишь ребенка, а эта женщина поможет ему появиться на свет...

\*— Но почему в Довиле? Я не помню эту виллу... Жанна говорит, что это старая лачуга...

— Ты будешь жить там недолго... Пять месяцев скоро промелькнут...

— Но зачем мне туда ехать?

— Потому что ребенок не будет записан на твое имя...

Она взрывается, вскакивает и начинает говорить громко, быстро.

— Я так и знала... Это было бы слишком чудесно... Ты не мог вдруг измениться... Теперь я вижу, что вы с Жанной всегда заодно...

Она говорит, говорит... Взгляд стал жестким, она в бешенстве шагает по комнате. Я жду, пока гроза пройдет.

•— Сколько тебе лет, внучка?

— Ладно. Шестнадцатый. Ну и что из этого? Доктор же сказал...

— Тут не в докторе дело... Речь идет о твоей жизни... Настанет день, когда ты, возможно, полюбишь...

Она морщится, всем своим видом показывая, что первого опыта для нее достаточно.

— Ну, это будет не так скоро...

— Ты не знаешь, что тебе готовит жизнь... Твой муж или любовник, вероятно, не захочет мириться с чужим ребенком...

— А что ты хочешь с ним сделать? Отдать кому-нибудь, как щенка?

Удивительно, как храбро она защищается, вернее, нападает.

— Твой ребенок... Я хотел сказать, твой сын, но может, это будет дочь...

— Нет;.. Я знаю, что это будет мальчик... Я хочу мальчика...

— Хорошо... Так вот, твой сын будет носить нашу фамилию и пользоваться теми же правами, что и остальные члены семьи...

— Не понимаю, как...

— Он будет зарегистрирован как Перре-Латур...

— Тогда зачем меня прятать?

— Потому что о тебе не будет упомянуто...

— А кто же его объявит своим сыном?

Не знаю, по-краснел ли я. Вероятно. Момент был трудный.

— Я... .

Все-таки она остается шестнадцатилетней девчонкой. Позабыв о недавнем гневе, Натали чуть не прыснула со смеха. Но сдержалась и смотрит на меня ошеломленно.

•— Ты признаешь себя отцом моего...

— Почему бы и нет? Многие мужчины моего возраста, даже старше, имели детей... И никто не заставит меня объявить имя матери...

— Значит, он будет моим дядей? — Она уже не принимает меня всерьез.—Но слушай, ведь это совсем глупо... Интересно\* кто вбил тебе в голову эту дикую мысль?

— Я обсудил ее со своим адвокатом, и ему она совсем не показалась дикой...

— Почему тогда уж не мой отец?

— Твой отец женится... Вряд ли Хильда обрадуется тому, что у ее мужа появится готовый младенец...

— Ты с ним говорил?

— С кем?

— С отцом...

— Нет еще...

— Он не знает, что я беременна?

— Во всяком случае, я ему не говорил...

— А где будет жить мой ребенок?

— Здесь, в бывшей комнате твоей бабушки, я ее переделаю... Я найму самую лучшую няньку, а ты будешь приходить, когда захочешь... Летом сможешь брать его в деревню или к морю...

Она немного успокоилась, хотя и не до конца.

— Почему ты все это делаешь, ведь прежде ты никогда мною не занимался?

— А ты часто приходила ко мне?

— Признаюсь, нет. Я боялась тебя тревожить.  
— А твой отец?•  
— Разве он тоже не приходит?  
— Раз или два в год... Жанна тоже... И Жан-Люк... Что касается моих американских внуков, то их родители даже не потрудились сообщить мне о их существовании...

Она опускает голову, пораженная этим открытием.

— Я никогда не думала...— и все же пытается возразить: — Это перевернет всю твою жизнь...

Я предпочитаю не отвечать.

— Думаешь, из этого и в самом деле что-нибудь получится?.. А ты обещаешь вернуть мне моего сына, если я когда-нибудь захочу взять его к себе?..

— Обещаю...

— Ты поговоришь с Жанной?

— Я надеюсь увидеть ее сегодня вечером...

•— И с отцом?

— Я ему позвоню...

— Лучше, чтобы меня здесь не было, когда они придут...

Мы оба встаем. Я протягиваю ей руку.

— Договорились?..

•— Раньше нужно узнать, что они скажут...

За обедом я ограничиваюсь двумя яйцами всмятку. Мне не хочется есть. Жанна приходит первой, около девяти часов, и я укладываю ей на кресло, в котором сидела Натали.

— Что происходит? Твой торжественный вид не обещает ничего хорошего. А Натали едва поцеловала меня, не стала обедать и заперлась в своей комнате...

— Она тебе говорила, что была у очень-хорошего врача?

— Меня начинает интересовать, почему ты так настаиваешь...

Что мне ей ответить? Я и сам не знаю почему.

— Она вполне способна родить, рискуя не больше любой другой женщины...

— Ребенок без отца... Отличное начало жизни для несовершеннолетней девушки, ты не находишь?

Я молчу. Редко я бываю так терпелив, как в этот вечер.

Звонок. Входят Жак и Хильда.

— Мы не слишком рано? — спрашивает Жак, глядя то на меня, то на Жанну.

Только Хильда улыбается немного таинственно. Возможно, Натали успела ей позвонить.

— Садитесь, дети мои... Что вам предложить?..

Жак выбирает коньяк, Жанна тоже, и я звоню, чтобы из кухни принесли фруктовый сок.

•— Хильда не говорила с тобой, Жак?

— О чем?

•— О твоей дочери...

— А что с Натали?

•— Ничего страшного... Она беременна...

— Откуда ты знаешь?

— Она сама мне сказала, а врач подтвердил.

Он ревниво смотрит на Хильду.

— А ты тоже знала?

Она кивает, и он еще больше теряется.

— А кто отец?

•— В настоящий момент отца нет...

— То есть как это нет?

— Твоя дочь знать не хочет этого парня... Она его терпеть не может... Впрочем, он уже не живет во Франции...

— По-моему, Натали еще слишком молода, чтобы...— вмешивается Жанна.

Лицо Жака мрачнеет.

— Об этом я и слышать не хочу.

— Значит, ты того же мнения, что и твой отец...

— И я! — радостно восклицает Хильда.

Я во второй раз наполняю бокалы. Говорю медленно. Снова повторяю свои соображения. И когда наконец объявляю: «Отцом буду я...» — мне кажется, что юная немка сейчас бросится мне на шею. Жанна сразу же заявляет, что это невозможно.

— Ты никогда не занимался детьми, а теперь вдруг начинаешь принимать решения... Ты не знаешь Натали..., Ты никогда не жил с ней под одной крышей...

Я кротко возражаю...

— Это она никогда не жила со мной...

Жак понимает, что я хочу сказать; ему неловко.

— Ты не боишься осложнений?

— Только если кто-нибудь из моих наследников станет протестовать... Не думаю, чтобы Жан-Люк...

— Жан-Люка это мало интересует... Я сам поеду к нему и поставлю его в известность... Может быть, твои американцы?..

— Это я беру на себя...

Возможно, еще возникнут мелкие затруднения, но основное улажено.

— Вы все согласны?

Жак искренне соглашается, Хильда шепчет:

— Я еще не имею права голоса. И все же я всегда с Натали...

Жанна молчит; она как будто сразу постарела.

— Я полагаю, ребенок будет жить здесь?

— Да. Я приглашу няньку. Переделаю твою прежнюю комнату...

У нее сжимается горло, она с трудом выговаривает;

— Ладно... Раз все...

Она не заканчивает. На глазах у нее слезы. Я снимаю трубку и вызываю бульвар Распай. Долго слушаю гудки и уже хочу положить трубку, когда раздается голос Натали,

— Ты спала?

— Нет... Ну как?..

— Мы все здесь... —

— Отец тоже?  
— Да...  
— И Хильда?  
— Я торопился сообщить тебе, что все согласны..  
— Даже Жанна?  
— Да, и Жанна тоже.  
— Скажи им, что я рада... Скажи Хильде, что я хотела бы повидать ее прежде, чем лягу...

Они ушли все вместе. Я поцеловал Жанну в обе щеки, шепнул ей на ухо:

— Прости меня... Я должен был это сделать..  
— Может быть, ты и прав...

Они втроем вошли в кабину лифта.

Немного позже я все рассказал мадам Даван; она очень взволнована.

Между нами ничего не происходит. И уже никогда ничего не произойдет, зато в доме появится ребенок,

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Пэт умерла в сочельник. Болезнь развивалась слишком быстро, и операция дала лишь недолгую отсрочку. По мнению доктора Фейнштейна и профессора Пендертона, для нее это было лучше.

Я не полетел в Нью-Йорк на похороны, хотя уже почти поборол себя и едва не сел в самолет. Думаю, мне еще рано знакомиться с моей невесткой, Бобом, его братом и сестрой.

Они сообщили мне о смерти Пэт через Эдди. Он пошлет цветы от моего имени. Элен и ее старший сын, кажется, справляются; оба много работают.

Я написал им и пригласил их во Францию на будущее лето.

Но лето еще далеко, а рождество я провожу в одиночестве. Жак и Хильда поженились в ноябре и поехали к Жан-Люку в Межёв. Я не выезжаю из Парижа. Не выхожу из дома. Хотел бы пригласить Кандиля пообедать со мной, но не решаюсь. Довольствуюсь тем, что подолгу говорю с Довилем.

Картье передаст все мои подарки, которые я выбирал целых два часа.

Как и в прошлые годы, я не забыл служащих. Эмиль, мой шофер, получил великолепную пенковую трубку. Он объяснил мне, что будет курить ее только дома, вечером, потому что пенковую трубку не следует курить на воздухе.

Повар получил серебряный портсигар; его-жена — золотые часы.

Уборщицам и всем служащим банка я подарил конверты с деньгами.

Вечером, сидя в своем кабинете, я впервые чувствую себя одиноким. Читать мне не хочется. Само собой разумеется, рождест-

венской елки в доме нет. Я не ем ни индейки, ни гусяной печени. Наконец направляюсь в спальню. Мадам Даван встает.

— Почему бы вам не посидеть со мной?

Она не без колебаний опускается в одно из кожаных кресел, я сажусь в другое. Может быть, желая придать себе уверенности, я зажигаю сигару.

Мы болтаем. Потом часы бьют двенадцать раз, и мы, замерев, молча смотрим друг на друга.

Нянька — швейцарка, окончила одну из лучших школ в Валэ и носит форму этой школы: блузу в узкую белую и голубую полоску и очень кокетливый чепчик.

Натали была права: она родила мальчика. Доктор Жориссан тоже был прав, потому что роды прошли без малейших осложнений.

По совету Террана она вернулась на бульвар Распай, поскольку полиция могла для вида начать расследование.

Я провел довольно веселые минуты на площади Лувра, в мэрии 1-го округа, но не хотел бы пережить их снова. Я постарался запомнить все инструкции Террана, который не очень-то меня обнадеживал.

— Во всяком случае, они не могут забрать у тебя ребенка / и поместить его в воспитательный дом... Они могут не признать тебя отцом и потребовать, чтобы ты усыновил ребенка, больше тебе ничто не угрожает.

Я направляюсь в Отдел записи гражданского состояния. Какая-то старая дама в сопровождении двух более молодых женщин, наверно дочерей, пришла заявить о смерти мужа. Служащий мэрии не торопясь снимает копию со свидетельства, выданного врачом. Старая дама сморкается, вытирает глаза.

Светит солнце, распускаются почки, и деревья словно окутаны бледно-зеленым маревом.

— Слушаю вас, мосье,— говорит мне служащий, когда три дамы направляются к двери.

Я подаю ему свою визитную карточку, деловую карточку, на которой обозначен мой адрес и мое звание. В его взгляде сразу же появляется любопытство.

— Вы хотите сделать какое-нибудь заявление?

— Да.

— О смерти?

— О рождении...

— У вас есть удостоверение врача?

— Роды произошли без врача...

Он смотрит на меня еще внимательнее, с удивлением,

— Но с акушеркой?

• — У меня нет никакого удостоверения...

— Кто отец ребенка?

— Я ,

Как Я и ожидал, он слишком молод, в его глазах мужчина семидесяти четырех лет может быть только немощным стариком.

— Вы женаты?

— Был женат три раза...

— Ребенок от вашей третьей жены?

• " — Нет. Я разведен со всеми тремя...

— Это незаконный ребенок?

— Законный, раз я его признаю...

— Мальчик?

— Да... Можете записать: Ив Жак Франсуа Перре-Латур.

Натали просила меня дать имена в таком порядке. Не знаю, с чем связано для нее имя Ив. В нашей семье никогда не было Ива, и у нас нет никаких "корней в Бретани. Жак — в честь ее отца, а Франсуа идет последним.

— Имя матери?

— Я его не знаю...

Он так и подскочил.

— Но вы не можете не знать...

— Предположим, официально я не знаю его...

— Где произошли роды?

— Тоже не знаю...

— С вашего разрешения, я сейчас вернусь.

Сбитый с толку, он решает посоветоваться с кем-то из начальства. Он идет в соседнее помещение. Немного погодя в комнату заходит человек постарше, чтобы не оставлять меня одного. Потом появляется молодой служащий.

— • Вам придется подождать. Сейчас узнают, у себя ли господин мэр.

Я жду, сидя на скамье, всего минут пятнадцать. За мной приходит курьер и ведет меня во второй этаж. Мы проходим через приемную в большой кабинет. Мэр встает, протягивает мне руку и бормочет:

— Рад познакомиться...

Это плотный человек с умным, симпатичным лицом.

— Садитесь, прошу вас...

Кабинет обставлен мебелью в стиле ампир, как и у меня, с той только разницей, что здешняя мебель — современная подделка. Солнце играет на бронзе и на большой стеклянной пепельнице. Мэр курит трубку.

— Заведующий Отделом записи гражданского состояния сказал...

Ему неловко, как и мне. Даже более неловко, потому что я перестал бояться.

— Если я правильно понял, вы желаете признать себя отцом ребенка, не сообщая фамилии матери?

— Совершенно верно. У меня серьезные причины на то, чтобы фамилия матери не упоминалась в официальных свидетельствах...

— Но, как мне сказали, у вас нет даже удостоверения врача, который принимал роды...

— Врача не было...

— И акушерки тоже?

Я молча смотрю на него.

— Словом, эта женщина родила одна?

— Бывает, что дети рождаются в такси, иногда в поезде или в самолете...

— Совершенно верно. Но тогда мы знаем фамилию матери...

— И не всегда фамилию отца...

— Это тоже верно...

— А тут есть фамилия отца..!

Видя его затруднение, я стараюсь ему помочь.

— Во Французском гражданском кодексе есть статья 336, которую я могу вам процитировать на память: «Признание отца без указания имени матери и подтверждения с ее стороны правомочно только по отношению к отцу...»

Он шевелит губами, повторяя эту фразу; вид у него такой, будто он погружен в глубокое раздумье.

— Не совсем ясно... Вы уверены, что статья сформулирована именно так?..

— Я это утверждаю... Добавлю, что консультировался с известным юристом... Он такого мнения, что эта статья дает основание для регистрации, в которой а рпоп\* не может быть отказано...

— Когда родился ребенок?

— Пятого апреля...

— Значит, десять дней тому назад?

— Прошу прощения. Я не мог прийти раньше.

• — Полагаю, фамилию вашего юриста вы тоже не можете назвать?

Он не издевается надо мной. Он встревожен, и я понимаю, что он не хочет совершить ошибки, отказывая мне в том, на что я, может быть, имею право.

— Вы позволите, мосье Перре-Латур?

Он выходит из кабинета, конечно чтобы позвонить в высшие инстанции, не знаю кому. Это продолжается долго. Я слышу негромкий разговор, но не могу различить слов.

Он возвращается, и видно, на душе у него стало легче.

• — Думаю, что можно будет произвести запись. Я велю зарегистрировать на отдельном листке, пока полиция не удостоверится в том, что никто не заявлял об исчезновении ребенка... Спешу добавить, это простая формальность... У вас внизу есть свидетели?

— Мой шофер, он в машине...

— Наш служащий достанет второго... Вы знаете, как это делается?.. Их всегда здесь двое или трое, они ждут там, в маленьком баре по соседству...

Уф! Он провожает меня, пожимает мне руку. Когда я возвра-

\* Независимо от опыта и его данных (лат.).

таюсь в Отдел записи гражданского состояния, служащий смотрит на меня с большим уважением.

• — Мне сказали, что у вас нет свидетелей? Если желаете, я вам сейчас их достану...

Он звонит по телефону из глубины комнаты.

— Алло, Гастон?.. Это Жермен... Да... Двоих... Сейчас... Срочно...

Я даю каждому по сто франков, боюсь, что, если дам больше, это покажется странным.

Выхожу из мэрии на залитую ярким солнцем улицу. Я в пиджаке. В первый раз в этом году — март был холодный и неприветливый. Делаю знак Эмилю не открывать дверцу. Мне хочется пройтись.

— Я вернусь пешком...

Ну вот! У меня появился еще один сын! И этот уж будет жить со мной, в моем доме. Не знаю почему, я чувствую не просто радость, но словно освобождение...

Я не стараюсь разобраться в своих чувствах, не задаю себе вопросов. Я будто сбросил с себя какую-то тяжесть.

Иду быстро. Давно мне уже не шагалось так легко. Иногда останавливаюсь и смотрю на витрины улицы Риволи.

Сейчас позвоню Натали и сообщу ей приятную новость. Теперь она еще больше старается походить на взрослую и очень горда собой.

— Раз я его не кормлю, может быть, мне поехать в Сен-Тропез, к Жан-Люку и остальным?

Я вспоминаю свою прогулку вдоль Марны, дорогу меж двух откосов, вспоминаю о том, как я посмотрел вверх, и о фразе, которая невольно пришла мне на ум:

«И все-таки орешник зеленеет»...

Вандомская площадь прекрасна. И окна там, наверху, тоже.

— И все-таки орешник...

Я вхожу в квартиру и слышу крик ребенка.